This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Google

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

2 v 4345. 115. 381

Bought with the income of
THE
SUSAN A. E. MORSE FUND
Established by
WILLIAM INGLIS MORSE
In Memory of his Wife

Harvard College Library

БЕЗЪ ЗАГЛАВІЯ.

4704
18

А. Кугель.

БЕЗЪ ЗАГЛАВІЯ.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія А. М. Вольфа, Б. Итальянская, 2.

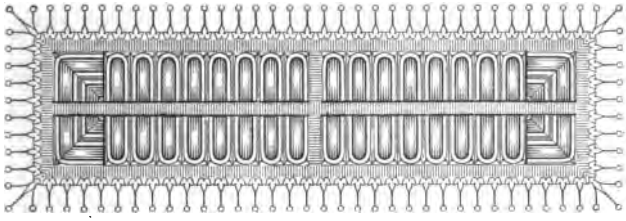
1890.

PRINTED IN RUSSIA

Slav 4345.115.381
V

HARVARD
UNIVERSITY
LIBRARY
JUN 7 1961

Morse



Отъ автора.

Предлагаемая книжка составлена изъ нѣсколькихъ статей, напечатанныхъ въ 1888 г. въ „С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ“ подъ однимъ общимъ названіемъ „Молодое поколѣніе“, и изъ разнохарактерныхъ небольшихъ „статей-хроникъ“,—употребляя французскій терминъ,—печатавшихся, главнымъ образомъ, на страницахъ „Петербургской Газеты“. Рѣшившись издать нѣкоторыя статьи отдѣльною книжкою, я оставилъ ихъ, за исключеніемъ немногихъ стилистическихъ поправокъ, почти въ нетронутомъ видѣ, полагая, правильно или неправильно—объ этомъ предоставляю судить читателямъ,—что переработка такихъ статей въ книжномъ духѣ поведетъ только къ утратѣ ими своей

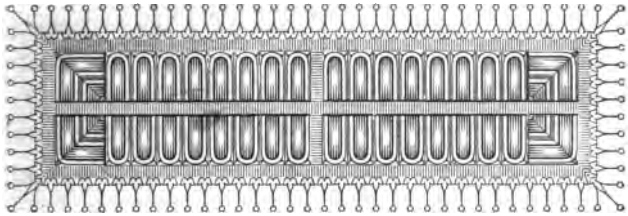
индивидуальной физіономіи, и все таки въ концѣ концовъ, не дастъ ни монографій, ни изслѣдованій.

Большая часть статей написана либо по поводу какого нибудь факта или явленія общественной жизни, либо подъ ихъ вліяніемъ. Читая статьи всѣ вмѣстѣ, за одно, придирчивый читатель, быть можетъ, усмотритъ мѣстами противорѣчія, мѣстами увлеченіе, мѣстами черезъ чуръ крайнюю и соглашаюсь заранѣе,—парадоксальную постановку вопроса. Такихъ читателей я прошу помнить, что журнальная дѣятельность имѣетъ свои особыя условія и отвѣчаетъ совсѣмъ особымъ требованіямъ. Не могу удержаться, чтобы не привести изъ предисловія къ сборнику „хроникъ" извѣстнаго французскаго публициста и хроникера, Анри Фукье, „Paradoxes Féminins" нѣсколькихъ строкъ, рисующихъ, по моему, весьма вѣрно сущность журнальнаго творчества. „Главная заслуга, которою я дорожу всего болѣе, пишетъ Фукье,—это искренность впечатлѣній. Эта искренность доходитъ у журналистовъ, не замыкающихся въ тѣсномъ кружкѣ какой либо партіи, до того, что они выска-

зываютъ о совершенно аналогичныхъ вопросахъ если не противорѣчивые, то во всякомъ случаѣ, довольно разнообразные и разнохарактерные взгляды. Я говорю это съ полною откровенностью, потому что мы обязаны не столько находить окончательное рѣшеніе для жизненныхъ проблемъ, сколько выдвигать ихъ на очередь, на глаза общественнаго мнѣнія, освѣщая ихъ съ разныхъ сторонъ и разныхъ точекъ зрѣнія".

Въ предѣлахъ такой скромной задачи я и предлагаю судить меня читателямъ.

А. К.



ЛЭДИ МАКБЕТЪ.

По поводу появленія Росси въ роли Макбета, кое-гдѣ въ рецензіяхъ затронули и лэди Макбетъ. Артисткою, игравшею роль лэди Макбетъ, рецензенты въ большинствѣ остались недовольны, найдя сценическій образъ, созданный ею, черезъ чуръ мелодраматичнымъ. Въ одной газетѣ припомнили Ристори, игравшую когда то эту роль у насъ. Но кажется, и Ристори впадала въ такой же мелодраматизмъ. По крайней мѣрѣ, извѣстный переводчикъ «Макбета», Устряловъ, высказывается въ томъ смыслѣ, что Ристори создала величественный образъ, но это былъ образъ средневѣковой Фредегонды или античной Медузы, а никакъ не лэди Макбетъ. Лэди Макбетъ—глубочайшій женскій образъ, и выше его Шекспиръ не поднимался ни въ одной изъ своихъ пьесъ. Онъ не только глубокъ, этотъ образъ,—онъ универсаленъ. Такихъ универсальныхъ типовъ у Шекспира, можетъ быть, и есть всего два: одинъ муж-

ской—Гамлетъ, другой женскій—лэди Макбетъ. Каждый изъ насъ, мужчинъ, до извѣстной степени «*гамлетизированъ*», и каждая представительница прекраснаго пола въ свою очередь до извѣстной степени—да простится мнѣ это новое слово — «*макбетизирована*». Я живо представляю себѣ обликъ лэди Макбетъ. Ее нельзя изображать ни въ одной изъ крайнихъ формъ; ни въ формѣ черезъ чуръ мужественной женщины, напоминающей амазонку Дагомейскаго короля, ни въ формѣ безплотнаго, хрупкаго, легкаго, какъ зефиръ, женскаго образа, созданнаго мечтою художника-романтика. Ее нужно изображать соотвѣтственно тому, какъ принято у лучшихъ актеровъ изображать Гамлета — въ срединномъ родѣ, не вульгарною и не возвышенною, не толстою и не худою, не въ строгомъ пеплумѣ матроны, но и не въ вѣнкѣ изъ розъ. Лэди Макбетъ—просто женщина. Если вы видали Тиціановскихъ венеціанокъ, то вамъ не трудно представить себѣ этотъ образъ. Красивая женщина, съ золотистыми волосами, съ упругимъ тѣломъ, отсвѣчивающимъ розовымъ отливомъ, съ широкими, немного страстными и немного наглыми глазами, съ характернымъ абрисомъ рта, одинаково способнаго какъ на слова безотчетнаго упоенья, такъ и на грубую рѣчь невзнузданнаго животнаго эгоизма — вотъ что такое лэди Макбетъ.

«Быть или не быть?» говоримъ мы, мужчины, потому что мы всѣ немного Гамлеты. «Быть!» отвѣчаетъ женщина, не заходя далеко въ анализѣ своихъ ощущеній. «Быть!» повторяетъ она,—быть во что-бы то ни стало, и цѣною чего-бы то ни было. Когда ея мужа терзаютъ видѣнія—что̀ приходитъ прежде всего ей на умъ? Слово утѣшенія? Слово раскаянія? Душевной муки? Наконецъ, просто злобы? Ни мало. Лэди Макбетъ заботится о впечатлѣніи, произведенномъ на окружающихъ поведеніемъ ея супруга. Даже въ сценѣ сумасшествія, лэди Макбетъ остается вѣрна сама себѣ. Она не потому сошла съ ума, что ее терзаетъ, мучаетъ, подавляетъ тяжесть грѣха, проступка, а только потому, что она не можетъ справиться съ *фактомъ*. Да, фактъ, это маленькое красное пятно на рукѣ—вотъ что сводитъ ее съ ума, ибо онъ у всѣхъ на виду. Но то, что называется квалификаціею факта, для нея совершенно безразлично. Это просто инстинктъ существованія, и въ этомъ инстинктѣ вся натура лэди Макбетъ и можетъ быть, вся натура женщины.

*
* *

Возьмите любую житейскую трагедію изъ тѣхъ, что совершаются у насъ подъ носомъ и которыя мы обходимъ презрительнымъ молчаніемъ. Мужъ—слабо-

вольная, нервная натура, склонная скорѣе къ мечтательному прекраснодушію, чѣмъ къ грубому житейскому дѣлу. Во всякомъ случаѣ, онъ далекъ отъ цѣльности, и если у него и есть желанія, не всегда согласныя со строгою моралью, то за то, подобно Макбету, онъ не имѣетъ «шпоръ, чтобы колоть ихъ бока». Что побѣдило-бы въ немъ—мы не знаемъ, но весьма возможно, что онъ провелъ-бы весь вѣкъ надъ своимъ маленькимъ дѣломъ и сохранилъ-бы въ нетронутомъ видѣ и свои юношескіе идеалы, и хорошія слова, и протестующую горячность неиспорченнаго сердца. Но онъ—женатъ. Жена—это тѣ шпоры, которыхъ ему не хватало для волновавшихъ его желаній. Мы всѣ знаемъ эти домашнія картинки. Лэди Макбетъ нужна дача, не какая-нибудь дача, а не хуже другихъ; лэди Макбетъ нужна шляпка, опять таки не какая-нибудь, а непремѣнно модель изъ Парижа; лэди Макбетъ нужно общественное положеніе, и не просто положеніе, а непремѣнно «достойное» лорда Макбета. Всѣ эти «нужно» умная лэди Макбетъ никогда не поставитъ въ качествѣ ультиматума. Она ничего не требуетъ, она такъ, слегка дразнитъ воображеніе, и неслышно, почти нечувствительно покалываетъ «бока желаній». Разливаетъ супъ, и вдругъ задумается, такъ что супъ совершенно простынетъ. Выложитъ старую шляпку, и долго, мучительно долго станетъ возиться съ лентами.

Разговорится о знакомыхъ, и очень убѣдительно будетъ распространяться о томъ, что многіе взысканы судьбою совсѣмъ не по заслугамъ, тогда какъ другіе, одаренные, талантливые, способные, принуждены влачить жалкое существованіе. Капля по каплѣ, на душѣ у лорда Макбета скопляется такая бездна горечи, что въ ней окончательно тонутъ и завѣты юности, надъ которыми онъ дрожалъ, и высокія слова, которымъ онъ жарко молился. И наконецъ, его судьба рѣшается. Проходитъ нѣсколько лѣтъ, и предъ вами Макбетъ лысый, Макбетъ толстый, Макбетъ съ измочаленными нервами, съ геморроемъ и одышкою, и безъ всякаго признака душевнаго равновѣсія.

Процессъ пиленія и, если можно такъ выразиться, окисленія своего супруга, лэди Макбетъ рѣдко производитъ сознательно. Это просто вытекаетъ изъ ея натуры. Когда вопросъ ставится такимъ образомъ, что на одной сторонѣ бѣдность и неизвѣстность, а на другой—богатство и слава, для трехъ четвертей женщинъ не можетъ даже возникнуть мысль о выборѣ. Совѣсть куда-то улетучивается. Прислушайтесь къ тому, что говоритъ лэди Макбетъ въ концѣ перваго акта, когда она уговариваетъ мужа убить Дункана. Мужъ и жена объясняются на разныхъ языкахъ. У него на языкѣ вертятся отвлеченныя понятія: добродѣтель, гостепріимство, предательство, низость. У нея все время

голыя понятія выгоды, пользы, благополучія. Она не то что презираетъ такія понятія, какъ совѣсть или честь, — она ихъ просто не знаетъ, не замѣчаетъ, какъ человѣкъ съ насморкомъ не замѣчаетъ и не чувствуетъ самыхъ сильныхъ духовъ.

Переройте всего Шекспира, и вы не найдете болѣе чудовищнаго мужскаго образа, чѣмъ Ричардъ III. Но что такое, въ концѣ концовъ, Ричардъ III? Глубокій пессимистъ. Все его злодѣйство — результатъ сознательнаго презрѣнія къ человѣчеству.

Была-ль когда такъ женщина добыта,
Была-ль когда такъ ведена любовь?

Здѣсь чувствуется демонизмъ, а не просто злодѣйство, демонизмъ, который выше грѣха или преступленія, а не ниже его. И если потомъ Ричарда III терзаютъ видѣнія, такъ это потому, что его міровоззрѣніе дало трещину, и на сцену выступило угрызеніе совѣсти въ реальной формѣ кроваваго призрака. Только женщина способна не видѣть тѣни Банко. Для этого ей не нужно вовсе прибѣгать ни къ пессимизму, ни къ философіи отрицанія. Съ нея довольно оставаться женщиною до конца...

* *
*

Набрасывая эти строки, я думалъ о томъ, что если онѣ случайно попадутъ на глаза г. Плевако, то

въ одной изъ своихъ будущихъ защитительныхъ рѣчей онъ постарается непремѣнно реабилатировать, какъ принято выражаться, образъ лэди Макбетъ, и докажетъ гг. присяжнымъ засѣдателямъ, какъ дважды-два—четыре, что лэди Макбетъ совсѣмъ не злой геній человѣческой трагикомедіи, а Офелія съ распущенными волосами. Такой уже благородный рыцарь г. Плевако. Онъ опоздалъ своимъ появленіемъ, по крайней мѣрѣ, на четыре столѣтія, и по настоящему долженъ былъ числиться не въ округѣ московской судебной палаты, а въ округѣ провансальской поэзіи трубадуровъ. Я читалъ, напримѣръ, его рѣчь въ защиту г-жи Максименко. Не касаюсь даннаго случая, и охотно склоняюсь въ сторону оправдательнаго вердикта присяжныхъ засѣдателей. Но дѣло совсѣмъ не въ этомъ, а въ общемъ пріемѣ защиты. Для г. Плевако возможность отравленія постылаго мужа представляется совершенно чудовищною и въ этомъ заключается фальшь его основнаго воззрѣнія.

Ни въ чемъ, быть можетъ, не выражается такъ рельефно характеръ лэди Макбетъ, какъ именно въ сферѣ любви. Она любитъ для себя, и только для себя. Офелія завтра станетъ лэди Макбетъ, разъ на пути къ удовлетворенію ея эгоизма будетъ торчать какое нибудь препятствіе. Мужчина можетъ разлюбить и всетаки не порвать связи. Женщина непремѣнно порветъ

связь, разъ ей приглянулся другой. И если она этого все-таки не дѣлаетъ, то только потому, что эгоизмъ страсти сталкивается съ эгоизмомъ другаго рода, напримѣръ, съ эгоизмомъ материнской любви, эгоизмомъ домашняго комфорта, съ которымъ не хочется разстаться. Но устраните противодѣйствующія формы эгоизма, и вы увидите, станетъ ли женщина церемониться съ человѣкомъ, какъ бы беззавѣтно онъ ее ни любилъ. И броситъ она его не по злобѣ, а просто вслѣдствіе полнаго равнодушія къ такимъ тонкостямъ, какъ совѣсть, отъ которой ни тепло, ни холодно.

Я очень хорошо понимаю, какъ должно затрудняться правосудіе и въ особенности, простой, здравый смыслъ присяжныхъ засѣдателей, когда приходится разбирать какія нибудь дѣла въ такомъ родѣ. Это дѣйствительно ужасно чудовищно, какъ-то первобытно-элементарно, цинично-откровенно... И умъ охотно склоняется къ тому предположенію, что здѣсь замѣшалась какая-то роковая ошибка, что немыслимо, чтобы это кроткое, мягкое, женственное существо могло принимать участіе въ такомъ грубомъ, жестокомъ дѣлѣ. Одно не вяжется съ другимъ, и такъ какъ мягкость, кротость и женственность установлены вполнѣ, то остается придти къ отрицательному рѣшенію на вопросъ о виновности.

И между тѣмъ, это такъ въ натурѣ лэди Мак-

бетъ! Когда цѣль намѣчена, какое значеніе имѣетъ вопросъ о средствахъ? Клеопатра въ «Египетскихъ ночахъ» или Царица Тамара очень мало задумывались надъ тѣмъ, какою цѣною покупается наслажденіе. Найдите мнѣ во всемірной литературѣ мужской характеръ, въ которомъ животный эгоизмъ вылился бы въ такой наглой, кристаллизованной формѣ, и я быть можетъ, измѣню свое мнѣніе. Но увы, такого параллельнаго типа нѣтъ... Только женщина способна сверкать лучезарною красотою, какъ Клеопатра, подавлять своею энергіею, какъ лэди Макбетъ и въ то же время стоять на той ступени развитія, гдѣ кончается человѣческій обликъ и начинается зоологическое существованіе.

АМЕРИКАНСКІЙ ДЯДЮШКА.

Въ Санъ-Франциско объявился новый «американскій дядюшка», протежирующій на этотъ разъ виленскихъ евреевъ. Состояніе, оставленное имъ, какое-то сказочное, не то 60, не то 80 мил. долларовъ. Сказочное, впрочемъ, только на нашъ взглядъ. Въ Америкѣ и не такіе богачи бываютъ. У Гульда, напримѣръ, считается 250 мил., у Макея 220, у Вандербильда 130, Джонсона 100 мил. и т. д. На рубли эти доллары выйдутъ еще внушительнѣе, повергая наши обычныя представленія о богатствѣ въ какое-то оцѣпенѣніе.

Наше скептическое время окончательно отвергло возможность существованія американскихъ дядюшекъ. Но еще очень недавно сравнительно «американскій дядюшка», какъ типъ, какъ реальное представленіе, господствовалъ въ сознаніи публики. Вы помните эти водевили, въ которыхъ постоянно къ послѣднему дѣй-

ствію является какъ Deus ex machina, заатлантическій дядюшка? Надъ ними очень много нынче смѣются и проницательные критики находятъ ихъ черезъ чуръ наивными, а развязку ничѣмъ не мотивированною. Нынче публика въ это не вѣритъ, а склоняется больше въ сторону тѣхъ путей обогащенія, которые олицетворяются въ «Нашемъ другѣ Неклюжевѣ», въ «Хлопонинскихъ милліонахъ» и въ реабилитаціи «Хрущевокъ» и «Заманиловокъ». И соотвѣтственно съ этимъ, иначе планируются и дѣйствіе, и развязка, и борьба добродѣтели съ порокомъ.

Но говоря по душѣ, безконечно жаль это старое, добро-водевильное время. Мнѣ кажется, что въ свое время «американскій дядюшка», если реально и существовалъ крайне рѣдко, то идеально представлялъ собою очень яркое выраженіе капиталистическихъ вкусовъ общества. Общество олицетворяло въ немъ извѣстный протестъ противъ тяжелыхъ условій жизни, среди которыхъ ему приходилось вращаться. «Американскій дядюшка» являлся, до нѣкоторой степени, капиталистомъ въ «Чайльдъ-Гарольдовомъ плащѣ», съ таинственнымъ прошлымъ, разбитымъ сердцемъ и потухшими идеалами личнаго счастья. Дядюшка сидѣлъ въ Америкѣ и копилъ, копилъ, копилъ, только для того, чтобы забыться въ процессѣ накопленія и заставить замолчать расходившееся «европейское»

сердце. Такъ онъ проводилъ всю свою юность и зрѣлость. А когда наступила старость, когда ѣдкія воспоминанія прошлаго утратили свой острый характеръ, когда руки устали работать, а умъ потерялъ способность сосредоточиваться, онъ сказалъ себѣ «довольно!» и почувствовалъ неудержимую жажду добраго дѣла... И онъ простеръ благодѣющую руку надъ дорогими племянниками.

Повторяю: это трогательно до глупости, и однако, исторія американскихъ дядюшекъ и ихъ капиталовъ имѣетъ почти всегда одну и ту же подкладку. На нашъ европейскій взглядъ, возникновеніе дядюшкиныхъ милліоновъ инымъ образомъ и инымъ путемъ является совершенно невозможнымъ. Лихорадку накопленія, безъ числа и мѣры, накопленіе, какъ содержаніе жизни, какъ вѣнецъ ея, какъ цѣль и атмосферу, мы въ состояніи понять только въ формѣ таинственной исторіи американскаго дядюшки. Нуженъ особенный импульсъ, особенный толчекъ для того, чтобы ухлопать всю жизнь на лихорадку пріобрѣтенія, по грошамъ, по мелочи, не давая ни на минуту воли своимъ наклонностямъ, а полагая весь смыслъ существованія въ приспособленіи къ единственной, поглощающей цѣли. Это не значитъ, конечно, что мы не любимъ денегъ и не стремимся къ нимъ. О! совсѣмъ наоборотъ! Но мы всегда немного лирики; мы охотно-бы выиграли

двѣсти тысячъ, еще охотнѣе нашли-бы какой-нибудь кладъ. И даже охотно продѣлали-бы это дважды, т. е. исчерпали-бы кладъ, а потомъ обратились-бы къ новому; но молотить рожь на обухѣ и извлекать отсюда доходы—это скучно, какъ хотите. Это требуетъ уже какого-то сверхъестественнаго напряженія воли, которое можно объяснить только исключительнымъ складомъ жизни, какъ у дядюшки, напримѣръ. Разочарованіе въ любви, смерть любимаго человѣка, вопросъ фамильной чести и т. п. Только подъ этимъ условіемъ мыслимъ дядюшкинъ милліонъ.

И вотъ, сравните нашъ европейскій взглядъ на милліонъ съ кровнымъ американскимъ воззрѣніемъ. Тамъ копятъ безъ всякихъ предисловій и трогательныхъ вступленій; копятъ, даже не разсуждая, а просто потому, что все кругомъ по горло занято дѣломъ и лихорадочно копитъ гроши и молотитъ рожь на обухѣ.

Недавно я читалъ, напримѣръ, что въ Нью-Іоркѣ образовалось анонимное, т. е. акціонерное общество съ основнымъ капиталомъ въ 25,000 доллар., которое беретъ на себя производство всѣхъ смертныхъ казней въ предѣлахъ Соединенныхъ Штатовъ. Идея новаго общества показалась предпріимчивымъ янки до того блистательною, что финансовый успѣхъ акціонерной компаніи превзошелъ всѣ ожиданія. Въ биржевыхъ

газетахъ это разъяснялось весьма обстоятельно. Въ самомъ дѣлѣ, вездѣ возможенъ извѣстный рискъ. Операціи съ хлѣбомъ зависятъ отъ урожая. Вы потратили деньги на устройство элеватора; а элеватору оказывается нечего выгружать, потому что въ штатѣ Кентукки выпалъ градъ съ куриное яйцо и побилъ всѣ всходы. Хорошая вотъ тоже операція транспортированіе битой свинины и говядины. Однако, подъ тропиками мало-ли что можетъ случиться! Еще трихина отъ дѣйствія солнечныхъ лучей разведется, пожалуй, такъ что хоть бросай весь транспортъ въ воду. А тутъ дѣло вѣрное. Статистика давно доказала, что преступленія колеблются на извѣстной нормѣ, ниже которой никогда не спускаются. Такимъ образомъ здѣсь облигаціи являются какъ-бы гарантированными законами статистики. А на гарантированныя облигаціи, да ежели еще по 10 проц.—такъ чего-же лучше? Притомъ, продолжала газета,—несомнѣнно, что цифра смертныхъ казней возростетъ еще больше. Можно, напримѣръ, сказать съ увѣренностью, что «судъ Линча» выйдетъ самъ собою изъ обыкновенія. Кому будетъ охота напосить ущербъ собственнымъ облигаціямъ? Нѣтъ, ужъ пожалуйте къ шерифу, а мы пока купончикъ отрѣжемъ...

И разсчетливые американцы густыми толпами стекались къ банкирскимъ конторамъ, гдѣ производи-

лась подписка на акціи новаго общества. Телеграфъ работалъ безъ перерыва. «Съ желѣзомъ—туго, объявлялъ биржевой бюллетень, съ пенькой—слабо, съ облигаціями—нѣтъ спроса, съ акціями «общества смертныхъ казней»—превосходно»...

Вы представьте себѣ хорошенько эту картину. У дверей банкирской конторы стоятъ мелкіе рантьеры и собственники съ бумажниками и портфелями. Въ бумажникахъ и портфеляхъ все сбереженія да трудовыя копѣечки. Деньги вѣдь даромъ тоже не достаются: каждая копѣйка здѣсь потомъ и кровью облита, стоитъ безсонныхъ ночей, помятыхъ боковъ, нравственныхъ и физическихъ страданій. И вотъ, нынче они довѣрчиво собираются внести свои трудовыя копѣечки на хорошее, правильное, вѣрное дѣло. Кто знаетъ? Можетъ быть, впереди предстоятъ спокойные, обезпеченные годы, безъ трудовъ, физическихъ лишеній и нравственныхъ мукъ. Будетъ онъ себѣ сидѣть, мистеръ Джонъ Брайтъ, въ своемъ городкѣ на берегу рѣки Миссисипи, въ теплой, свѣтлой, хорошей комнатѣ. Утромъ его супруга, мистриссъ Брайтъ, ему кофе приготовитъ. Выпьетъ онъ чашечки двѣ кофе съ хлѣбцемъ (ежели горячій хлѣбъ да съ масломъ—такъ вѣдь это прелесть, что такое!) и станетъ просматривать свѣжій нумеръ «Миссисипскаго Вѣстн.». Разныя тамъ свѣдѣнія сообщаются, и про политику, и про необыкновенное

наводненіе, и про выборы, и мало-ли про что еще! А вотъ и самое интересное: пятнадцать человѣкъ повѣсили! Ловко! Акціи поднялись на 25 проц.

— Кэти, позоветъ онъ свою супругу,—не дальше, какъ вчера пятнадцать человѣкъ повѣсили.

— Ну, слава Богу, скажетъ Кэти,—значитъ, самая пора купончикъ размѣнять...

И пойдутъ у нихъ хозяйственные разговоры. Коровушку, вотъ, прикупить надо, да полисадничекъ новымъ тыномъ обнести необходимо, да еще, вотъ, мальчишка-то старшій, Джэкъ, проситъ все, чтобы ему религіозно-нравственныхъ книжекъ съ картинками купить. Отчего-же? Нынче все сдѣлать можно, мы люди съ достаткомъ: пятнадцать человѣкъ, благодареніе Богу, повѣсили. Собирайся, Кэти, что-ли въ дорогу. Прихвати купончикъ, да для Джэка религіозно-нравственныхъ книжекъ побольше, смотри, накупи. Пускай уму-разуму учится и хорошимъ человѣкомъ станетъ.

А потомъ Джонъ Брайтъ пуститъ купончикъ въ оборотъ. Сегодня—оборотъ, завтра—оборотъ, глядишь—купонъ разросся въ капиталъ. Макей началъ точно также. Сначала мальчикомъ онъ продавалъ булки на станціяхъ желѣзныхъ дорогъ; въ тоже время онъ ухитрялся собирать слухи и новости и записывать ихъ; въ тоже время онъ ихъ печаталъ; въ

тоже время онъ продавалъ импровизированную газету пассажирамъ; въ тоже время онъ исполнялъ разныя комиссіи, порученія, покупалъ, продавалъ, читалъ, учился; въ тоже время жена его стирала бѣлье, покупала, продавала, читала, училась; въ тоже время онъ игралъ на биржѣ; въ тоже время...

Позвольте, однако, остановиться. Вы видите здѣсь какое-то невѣроятное, калейдоскопическое сцѣпленіе несовмѣстимыхъ, повидимому, совершенно разнородныхъ занятій, которыя, съ нашей точки зрѣнія, никакъ не могутъ быть втиснуты въ сферу дѣятельности одного и того-же лица. Это уже не лихорадка пріобрѣтенія, а какой-то вихрь, не оставляющій свободнымъ ни одного пальца, ни одной крупицы мозга, ни одного нерва. Здѣсь не разсуждаютъ, не колеблются, не жантильничаютъ, не резонерствуютъ. Здѣсь оставляютъ столько-то минутъ для ѣды, столько для сна, — и кончено! Задачи жизни, условія, приличія, воздѣйствіе воспитанія, требованія развитаго ума — все это совершенно стушевывается. Жить—это значитъ копить съ утра до поздняго вечера, хватать на газетной дѣятельности, на смертныхъ казняхъ, на биржевыхъ спекуляціяхъ, на продажѣ булокъ—на всемъ, что ни подвернется...

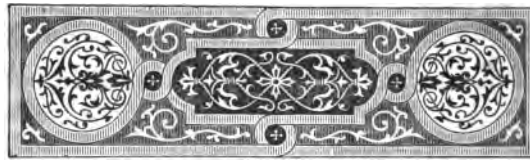
*
* *

У насъ американскихъ милліоновъ не водится потому, что некультурный человѣкъ способенъ только развѣ открыть извозчичій дворъ или выстроить пятиэтажный домъ, который ежегодно требуетъ капитальнаго ремонта, а культурный человѣкъ умѣетъ только заниматься культурнымъ дѣломъ, и понемножечку ныть изо-дня въ день. Янки, наоборотъ, всегда культуренъ съ одной стороны и съ другой,—всегда плюетъ на свою культурность. Т. е. не столько плюетъ, сколько упрощаетъ ее до такой степени, что она не только не мѣшаетъ ему подписываться на акціи «Общества смертныхъ казней» и совмѣщать продажу булокъ съ газетною дѣятельностью, но напротивъ, прямо этому способствуетъ. Эта культурность расширяетъ его умственный горизонтъ до какихъ угодно предѣловъ, въ смыслѣ эксплуатаціи всякаго встрѣчнаго и поперечнаго предмета, но она ни на іоту не измѣняетъ его основныхъ воззрѣній на жизнь, не аристократизируетъ его влеченій, не толкаетъ его къ опредѣленному роду дѣятельности. Нѣтъ дѣятельности благородной и неблагородной или даже не возвышенной. Всѣ роды дѣятельности хороши за исключеніемъ тѣхъ, которые дурно вознаграждаются.

Вотъ почему, наша европейская исторія американскаго дядюшки такъ трогательна, мелодраматична и исторгаетъ слезы у зрителей. Мы не можемъ допу-

стить, чтобы нашъ европейскій человѣкъ, плоть отъ плоти, кровь отъ крови, одеревенѣлъ въ растворѣ американскаго меркантилизма. Онъ, должно быть, ужасно несчастный человѣкъ въ прошломъ; у него есть драма, погнавшая его въ чужую, непонятную страну, и сама его жизнь тамъ, на берегахъ Огіо и Миссури, ничто иное, какъ скрытая драма. Онъ выбиралъ между жизнью и смертью, и онъ выбралъ жизнь, которая на нашъ европейскій взглядъ стоитъ смерти. Тогда въ драму американскаго дядюшки вмѣшалась судьба, и позволила ему хотя разъ въ жизни пережить пріятное мгновенье, устроивъ судьбу влюбленныхъ молодыхъ людей...

Да, господа, исторія американскаго дядюшки ужасно глупая и трогательная исторія. Но въ ней такъ рельефно отражается контрастъ новаго и стараго свѣта, теоретической справедливости разума и инстиктивной справедливости сердца, классическаго идеализма и американскаго практицизма, что ей можно простить ея глупость...



„ВЪ ВИХРѢ ВАЛЬСА".

Маэстро Іоганнъ Штраусъ задумалъ большую и серьезную реформу въ области вальса. Именно онъ рѣшилъ сдѣлать его болѣе плавнымъ и замедленнымъ. Въ «Gil-Blas'ѣ» или какой-то другой французской газетѣ я вычиталъ на-дняхъ и мотивы реформы. По глубокому убѣжденію вѣнскаго Walzerkönig'a, обыкновенный вальсъ въ два пà — чрезвычайно буржуазный танецъ, а темпъ, въ которомъ его танцуютъ, до того скоръ и «пальпитантенъ», что для сколько-нибудь интереснаго «флирта» не остается рѣшительно ни времени, ни мѣста, ни возможности. Какъ видите, мотивы реформы весьма серьезные, и Іоганнъ Штраусъ оказывается не только королемъ вальсовъ, но и очень заботливымъ, и очень предусмотрительнымъ королемъ.

Это съ одной стороны. Съ другой стороны, я читаю уже около трехъ мѣсяцевъ въ объявленіяхъ танцовальныхъ учителей какіе-то злобные намеки на

вѣнскій вальсъ à trois temps. Танцовальный учитель г. Давингофъ находитъ даже, что наименованіе этого вальса «совершенно произвольно». Другіе учителя танцевъ, хотя этого и не находятъ, но очевидно, также не расположены въ пользу реформы вальса. Новое всегда съ большимъ трудомъ прокладываетъ себѣ дорогу, а старое никогда безъ борьбы не уступаетъ своихъ позицій.

Таково современное положеніе вопроса.

Если вамъ интересно знать мое мнѣніе, и если вы спросите меня, какой вальсъ я предпочитаю, то я вамъ отвѣчу, что инстинктомъ художника я принадлежу замедленному вальсу въ три па, а всѣмъ своимъ складомъ — головокружительному вальсу въ два па. Во мнѣ борются два начала, два противоположныя теченія: одно, которое ищетъ спокойной пластики, жизненнаго простора, граціознаго, лѣниваго комфорта, другое — которое «и жить торопится, и чувствовать спѣшитъ», и знать не хочетъ ни пластики, ни простора.

Я думаю, что большинство чувствуетъ тоже, что и я. Посмотрите вальсъ въ «Фаустѣ», во 2 актѣ. Это мѣрное, лѣнивое колыханіе пейзанскихъ паръ гораздо лучше иллюстрируетъ Маргариту, чѣмъ всѣ аріи ея, вмѣстѣ взятыя. Вы понимаете, что въ этой средѣ могла родиться только кроткая, только бѣлокурая и только

незапятнанная Маргарита. И вы чувствуете дальше, что это въ послѣдній разъ здѣсь на площади, у готическаго собора, раздаются полные, медлительные звуки, и ноги граціозныхъ пейзанокъ осторожно, съ плѣнительною нѣгою, скользятъ по желтому песочку, которымъ усыпана площадка. Вдали показывается Мефистофель и скучающій Фаустъ, которому обычный темпъ жизни пріѣлся до того, что онъ продалъ свою душу дьяволу. Ему нужно встряхнуться, погрузиться съ головою въ омутъ веселья и наслажденья.

Позвольте предложить,
Прелестная, вамъ руку...

И вальсъ замираетъ. Отдѣльныя пары дотанцовываютъ его и затѣмъ исчезаютъ со сцены. Потомъ... Но ясно, что̀ наступаетъ потомъ. Потомъ Маргарита, пройдя послѣдовательно всѣ темпы головокружительнаго вальса, дотанцовывается до легкаго канканчика изъ «Маленькаго Фауста»:

Пифъ! Пафъ! Пуфъ!
Станъ согнувъ...

*
* *

«Вихрь вальса»—любимое выраженіе, пустившее чрезвычайно глубокіе корни. Иначе у насъ вальса не понимаютъ. Нужно такъ вальсировать на жизненномъ

пиру, чтобы сердце ежеминутно готово было разорваться отъ напряженія. Хоть туръ, да мой... И люди дѣлаютъ одинъ бѣшеный туръ, послѣ котораго приходится высунуть языкъ отъ усталости, или какъ поется въ кафе-шантанной пѣсенкѣ «der Eine fährt nach Piatigorsk, der Andere nach Achen».

Жизнь протекаетъ, какъ мимолетный сонъ. Нѣтъ даже воспоминаній, потому что вся жизнь прошла въ какой-то безпорядочной сутолокѣ, въ удушливой атмосферѣ бальной залы, при показномъ блескѣ и показномъ сіяніи оголенныхъ плечъ и фальшивыхъ бриллiантовъ. Все было разсчитано на то, чтобы вызвать искусственное возбужденіе, чтобы пресыщеніе наступило раньше времени, до срока, какъ будто цѣль жизни—это какъ можно скорѣе сбыть съ себя тяготу наслажденія. «Наконецъ!» произноситъ усталый танцоръ, сдѣлавъ свой туръ. Въ 35—30 лѣтъ онъ уже изломанъ до послѣдней степени, загнанъ, какъ самая ледащая почтовая кляча. Но онъ гордъ сознаніемъ, что онъ сдѣлалъ все, что̀ полагается сдѣлать порядочному человѣку, что все имъ извѣдано, испытано, что волосы у него порѣдѣли, подъ глазами обозначились преждевременныя морщины, а вмѣсто сердца, болтаются какія-то обтрепанныя лохмотья...

«Wein, Weib und Gesang!» восклицаетъ Штраусъ въ одномъ изъ своихъ вальсовъ. Ну, да, совершенно

вѣрно! Но все это нужно непремѣнно танцовать въ два па, и притомъ въ самомъ отчаянномъ темпѣ. Вы заблуждаетесь, любезный маэстро. На берегахъ Рейна, тамъ, гдѣ Гейне видѣлъ такую удивительную рыбачку, одно время дѣйствительно пили вино маленькими глотками, цѣловали женщинъ долгими поцѣлуями и пѣли протяжныя пѣсни. Но нынче намъ нуженъ баль-мабиль. Вы скажете, что въ традиціяхъ баль-мабиль нѣтъ ничего ритмическаго. Тѣмъ хуже или, если хотите, тѣмъ лучше. Намъ нужна бѣшеная дробь, отчаянная свалка звуковъ, потому что мы живемъ въ вѣкъ электричества и газа, и намъ некогда: «times is money»...

А въ частности намъ вовсе не нуженъ «флиртъ», о которомъ вы хлопочете, стремясь реформировать вальсъ и затягивать темпы. У насъ ухаживаютъ только гимназисты и кадеты. Затѣмъ мы рѣшаемъ, что любовь, какъ полу-мистическое, полу-идеальное чувство, вовсе не существуетъ, и что въ своей основѣ все необыкновенно просто. «Flirtation»—это очень скучная исторія: гораздо веселѣе купить любовь или продать себя.

Зачѣмъ намъ медленный темпъ? Мы не умѣемъ ни разговаривать, ни глядѣть глубокимъ взоромъ, ни любоваться естественною граціею. Наши бабушки танцовали менуэтъ, и это была очень длинная исторія лю-

бовной интриги, въ которой все отъ a до z было проникнуто пластикою, таинственностью и трепетною граціею. Теперь интрига рѣшается мимоходомъ, съ перваго взгляда, даже и въ томъ случаѣ, когда она опредѣляется совсѣмъ не экономическими соображеніями. Вы помните первую интригу Донъ-Жуана, еще юноши? Она длилась, въ подготовительномъ періодѣ, по Байрону, цѣлую пѣсню, а по календарю, цѣлый годъ. И это потому, что тогда танцовали въ три па. По Ришпэну, на интригу полагается одна строфа, не больше, и это потому, что Ришпэну и въ стихахъ, и въ жизни некогда, и онъ танцуетъ всегда въ одно только па.

Я думаю, впрочемъ, что и вамъ некогда. Позвольте поставить мнѣ точку.

ЖЕНСКІЙ ХЛѢБЪ И ЖЕНСКІЯ ДРАМЫ.

Смерть крупныхъ людей совершенно заслонила одну, не совсѣмъ обыкновенную смерть, случившуюся на прошлой недѣлѣ. Бѣдная консерваторка, перебивавшаяся кое-какъ грошевыми уроками, выбросилась изъ окна пятаго этажа на дворъ. Произошло это отъ несчастной любви. Бѣдная консерваторка кого-то любила, и этотъ кто-то оказался человѣкомъ мало достойнымъ, или можетъ быть, впрочемъ, наоборотъ, очень достойнымъ и не желавшимъ вносить фальшь въ свои отношенія. Во всякомъ случаѣ, дѣвушку постигло разочарованье. А когда дѣвушекъ, обитающихъ въ мансардахъ и живущихъ своимъ трудомъ, постигнетъ разочарованіе, дѣло непремѣнно кончается спичками или воздушнымъ полетомъ...

Я позволю себѣ здѣсь разъяснить одно обстоятельство, которое до сихъ поръ въ нашемъ общественномъ сознаніи какъ-то систематически затемнялось.

Когда женское движеніе было въ большомъ ходу, въ «своемъ хлѣбѣ» видѣли, между прочимъ, противоядіе противъ аффектированности женскаго чувства, завершающагося такъ часто трагическими финалами и актами страдающаго или наносящаго страданія сумасшествія. Съ виду это было какъ будто совершенно логическое и понятное построеніе. Въ самомъ дѣлѣ, говорили намъ,—вы замыкаете всю жизнь женщины въ сферу чувства, вы насильственно стараетесь притупить въ женщинѣ всякій инстинктъ труда, всякій проблескъ мысли, всякій порывъ въ сторону общественнаго дѣла. Неудивительно поэтому, если въ каждомъ обмѣнѣ фотографическихъ карточекъ или тепломъ пожатіи руки для женщины заключается уже зерно будущей драмы. Но дайте женщинѣ возможность жить своимъ трудомъ, и вы увидите, какъ моментально испарится романтическій бредъ, и личное счастье станетъ познаваться въ сложной и разнообразной формѣ.

Это мнѣніе пустило чрезвычайно глубокіе корни. Вы его можете встрѣтить въ устахъ всякаго болѣе или менѣе культурнаго читателя, въ числѣ множества другихъ общихъ мѣстъ, которыя могутъ держаться десятки лѣтъ, безъ малѣйшей попытки съ чьей-бы то ни было стороны провѣрить ихъ и оцѣнить съ практической точки зрѣнія. Такъ всѣ говорятъ, и этого достаточно для того, чтобы и вы, въ свою очередь,

требовали швейныхъ машинъ и курсовъ господина Рапгофа, какъ предохранительнаго средства отъ полетовъ изъ пятаго этажа. И вотъ, мы видимъ, что и курсы господина Рапгофа стоятъ на мѣстѣ, и швейныя машины продаются на чрезвычайно льготныхъ условіяхъ, съ разсрочкою, а полеты все продолжаются, да продолжаются...

Я, грѣшный человѣкъ, не вѣрю въ цѣлительную силу курсовъ господина Рапгофа и швейныхъ машинъ для истосковавшагося и страдающаго женскаго сердца. Я думаю даже, что и курсы господина Рапгофа, и швейныя машины и всякія другія формы доступнаго женщинамъ труда способны еще болѣе обострить элементы драмы, если только они имѣются на лицо. Свой грошовый хлѣбъ, да еще добываемый совершенно нелѣпыми способами, постоянною музыкальною пачкотнею, бѣганьемъ по урокамъ, выпрашиваньемъ копѣечныхъ авансовъ и вѣчнымъ заискиваньемъ у хозяйки меблированныхъ комнатъ, самъ по себѣ представляетъ такую тину будничности и такой блистательный черноземъ пошлости, что здѣсь естественнѣе, чѣмъ гдѣбы то ни было, въ состояніи развиться зерно романтизма. Оно не западаетъ случайно, оно не обусловливается какою-нибудь встрѣчею, какимъ-нибудь совпаденіемъ или сцѣпленіемъ обстоятельствъ. Оно лежитъ въ самой сущности этого нелѣпаго труда, безъ про-

свѣта впереди, безъ надежды на лучшее будущее. Подумайте, въ самомъ дѣлѣ, что̀ ее ждетъ. Ну, кончитъ она курсы господина Рапгофа или консерваторію и пріобрѣтетъ еще пять уроковъ, пожалуй, комнату перемѣнитъ, да накупитъ нѣсколько горшковъ съ пальмами... А дальше? Вѣдь дальше ничего нѣтъ, рѣшительно ничего. И сегодня, и завтра, и послѣ завтра одна и таже отупляющая пошлость, бѣготня по копѣечнымъ урокамъ, тѣже стычки съ хозяйкою меблированныхъ комнатъ, да тоже нытье въ пальцахъ отъ практическаго приложенія наукъ, преподанныхъ на курсахъ господина Рапгофа.

И вотъ, представьте, что въ сферу этой будничной безнадежности, гдѣ все размѣрено и соображено не только въ настоящемъ, но и въ будущемъ, вторгается *онъ*. Единственный предметъ, быть можетъ, который не напоминаетъ о безконечномъ музыкальномъ тупоуміи и о вѣчной вознѣ съ «своимъ хлѣбомъ»; единственное живое лицо, которое не даетъ ей денегъ, не спрашиваетъ съ нея денегъ и не предлагаетъ ей работы; единственный представитель другаго міра, о которомъ она въ своемъ безпрестанномъ трудовомъ недомоганіи успѣла уже утратить всякое понятіе. Здѣсь все слагается такимъ роковымъ образомъ, что *онъ* неизбѣжно выростаетъ въ ея глазахъ въ фигуру романтическаго характера. Это не только человѣкъ, котораге она лю-

битъ. Гораздо больше: это выразитель другихъ формъ жизни, представитель идеальной стороны существованія, съ которою такъ мало общаго имѣетъ ея прозаическій «свой хлѣбъ»...

И потомъ, когда онъ летитъ съ высоты идеала, унося съ собой единственную возможность освободиться отъ тисковъ музыкальнаго тупоумія, — что́ ей остается дѣлать, какъ не завязать глаза и броситься съ высоты пятаго этажа?..

*
* *

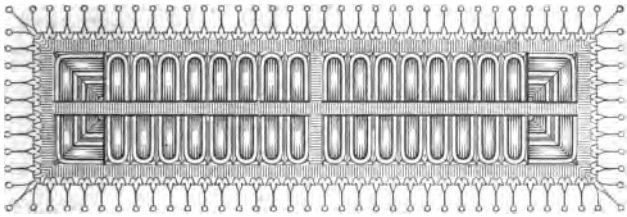
Повторяю: аффектированность женскаго чувства нигдѣ не проявляется съ такою страшною силою, какъ именно въ сферѣ женскаго «своего хлѣба». Женскій «свой хлѣбъ», отчасти въ силу общественныхъ причинъ, отчасти въ силу ограниченности женской натуры, поставленъ въ такія жалкія, механическія условія, что ни заполонить все женское существо, ни пріучить женщину къ трезвому и серьезному взгляду на жизнь онъ не въ состояніи. Совершенно наоборотъ: онъ давитъ ее своею искусственностью, своею нелѣпостью и ненужностью, своею трагическою безвыходностью, наконецъ, однообразіемъ и бѣдностью впечатлѣній. И подъ этимъ давленіемъ созрѣваетъ безудержное стремленіе къ новымъ, неиспытаннымъ формамъ жизни, къ обоготворенію героевъ, къ поклоненію и романтическому трепету.

Помнится, нѣсколько лѣтъ назадъ, проницательный критикъ одного журнала, до сихъ поръ пробавляющагося «послѣдними словами» 60-хъ и 70-хъ годовъ, написалъ очень сильную статью по поводу романа Золà «Pot-bouille». Въ романѣ «Pot-bouille» нѣтъ женскаго «своего хлѣба», за то есть очень много адюльтера. Но поглядите, съ другой стороны, какъ мало элементовъ серьезной драмы въ этихъ интригахъ и адюльтерныхъ похожденіяхъ. Я не говорю, разумѣется, что это хорошо, а хочу только указать, до чего упрощается любовная драма у женщины, которая поглощена однимъ только культивированьемъ чувства и чувственности. Вырядите всѣхъ этихъ буржуазокъ, населяющихъ громадный пятиэтажный домъ въ рабочія блузы, дайте имъ въ руки иглу, перо, какое нибудь мастерство, которое наполняло бы ихъ существованіе, и вы поймете тотчасъ же, что это облако легкомысленнаго адюльтера, покрывающее лѣстницы дома, должно исчезнуть, и что женщина бульварной интриги тотчасъ же уступитъ мѣсто женщинѣ «купороса», мстительной, страстной, экстатической, какъ героини «Жерминаля», «Матери-Земли» и другихъ однородныхъ произведеній.

Я готовъ, пожалуй, держать пари, что двѣ трети театральныхъ психопатокъ могутъ быть смѣло отнесены къ представительницамъ «своего хлѣба». Какая

нибудь высохшая гувернантка, какая нибудь питомица курсовъ господина Рапгофа, бѣгающая по музыкальнымъ урокамъ, какая нибудь переводчица брошюръ, которыхъ она не понимаетъ и до которыхъ ей нѣтъ никакого дѣла—все это прекрасный готовый матеріалъ для театральной психопатіи. Это она боготворитъ Вальбеля, задыхается, когда поетъ Мазини, цѣлые часы простаиваетъ предъ магазиномъ Попова, гдѣ продаются фотографическія карточки баловней психопатической женской публики. Ей нуженъ этотъ психопатическій трепетъ и мистическій восторгъ послѣ утомительнаго дня, наполненнаго нелѣпымъ «своимъ хлѣбомъ», совершенно также, какъ мы съ вами нуждаемся въ часѣ отдыха, послѣ изнурительной умственной работы. Но тогда какъ мы требуемъ отъ отдыха только спокойствія, она требуетъ отъ него бури, потому что отупляющее спокойствіе составляетъ и безъ того все содержаніе «своего хлѣба».

Зимою этого года одна романтическая дѣвица, въ порывѣ восторга, чуть не свалилась черезъ барьеръ галлереи въ театрѣ Панаева. Къ счастью, ее успѣли во время подхватить, и все дѣло ограничилось пустяками. Дайте срокъ, господа. Еще два-три года «своего хлѣба» и salto-mortale совершится безпрепятственно.



ОТЪ ЛЕГКОЙ ЖИЗНИ.

На прошлой недѣлѣ кончился процессъ «воровъ-домушниковъ». Ихъ было 22 человѣка, большею частью, все молодежь. Объ этомъ процессѣ въ газетахъ мало писали... Неинтересно... Воришки самые обыкновенные, отмычки заурядныя, пріемы общеизвѣстные, только нахальство невѣроятное. Такъ этотъ процессъ и прошелъ совершенно незамѣтно. На этой недѣлѣ, оказывается, опять предстоитъ разсмотрѣніе тождественнаго процесса о шайкѣ домушниковъ изъ 17 человѣкъ. Итого 39 человѣкъ на протяженіи двухъ недѣль. Это—«немного много», какъ говорятъ нѣмцы.

Откуда берется эта армія мелкихъ воришекъ? Я думаю, что этотъ вопросъ представляетъ не малый интересъ. Должны-же быть постоянные кадры, изъ которыхъ комплектуется эта масса копѣечныхъ мазу-

риковъ. Отрицателей собственности очень много, и они никогда не переведутся. Для этого выдумали даже очень хорошій терминъ—«экспропріація». Но вѣдь здѣсь не «экспропріація» и не «видъ самопомощи» и даже не «приспособленіе отношеній внутреннихъ къ отношеніямъ внѣшнимъ», здѣсь просто самое мелкое, самое мизерное мазурничество, не обладающее даже и тою тѣнью фантазіи и вымысла, которая окружаетъ крупныхъ экспропріаторовъ ореоломъ поэзіи... Вѣдь здѣсь что? Пришелъ—укралъ; укралъ—пришелъ; коверъ по лѣстницѣ—тащи коверъ; веревочка—давай и веревочку, пригодится. И все это моментально пропивается въ близлежащемъ трактирѣ и заѣдается какою-то невѣроятною селянкою, съ мухами, тараканами и клопами...

Съ другой стороны, должны же быть какіе нибудь внутренніе мотивы, подъ давленіемъ которыхъ формируется дѣйствующая армія мелкихъ мазуриковъ.

Мнѣ передавалъ одинъ молодой адвокатъ исповѣдь своего кліента. Кліентъ все это очень характерно разсказывалъ:

— Жизнь легкая, господинъ,—вотъ причина. Къ примѣру сказать, придешь въ трактиръ: сидятъ, пьютъ... Ни тебѣ хозяина, ни тебѣ дѣла какого... Пріятно, господинъ, легкую жизнь попробовать, въ родѣ, какъ господа, напримѣръ.

Въ этихъ словахъ заключается вся суть дѣла. Вы посмотрите, что онъ этотъ будущій кліентъ, такое? Въ какой-то лакейской пѣснѣ поется: «ярославскій воръ-мальчишка въ Петербургъ пріѣхалъ жить». Дальнѣйшихъ судебъ вора-мальчишки я не могу припомнить изъ словъ пѣсни, но онѣ предначертаны уже съ первой строчки. Пріѣхалъ этакій пострѣленокъ въ Петербургъ. Узды на немъ никакой нѣтъ. Въ деревнѣ его «власть земли» давила, такъ что дохнуть ему некогда было. А здѣсь свобода и просторъ... Стой себѣ на углу Невскаго и Литейнаго и визжи невѣроятнымъ фальцетомъ:

— Спиц-цки светскія... Спиц-цекъ не угодно-ли?

Или шмыгай изъ лавочки съ кульками на квартиру покупателей и обратно. Вы оцѣните-ка только внутренній міръ этого пострѣленка. Тятенькины кулаки, можетъ быть, и не соотвѣтствовали педагогическимъ принципамъ Песталлоцци, а все-таки что-нибудь да значили... Все-таки, какъ ни какъ, его окружала семейная трудовая обстановка, такая простая, не сложная, элементарная... И вдругъ, онъ въ Петербургѣ, одинъ, какъ перстъ, совершенно независимый, совершенно самостоятельный и свободный. Дѣло, къ которому онъ приставленъ не мудрое, времени у него для размышленій достаточно, а жизнь пестрая, волнующаяся, разнообразная... Жи-

вутъ люди хорошо, въ теплыхъ комнатахъ, платье хорошее носятъ, на извощикахъ ѣздятъ, гастрономическіе магазины посѣщаютъ. Въ Мучномъ переулкѣ, гдѣ онъ живетъ, куда хуже. Тамъ даже и неба не видать со двора; такъ, клочокъ грязный какой-то...

И вотъ, въ немъ начинается медленный процессъ культурнаго развращенія. Недоносокъ деревенской жизни, онъ быстро шлифуется въ лучахъ столичнаго блеска. Черезъ годъ онъ уже съ такимъ истязующимъ совершенствомъ визжитъ:

— Сссписцицки ссветскія хоросссія!..

Что невозможно не купить у него спичекъ, какъ невозможно бороться съ стихійнымъ зломъ. Черезъ два года онъ уже какъ то нелѣпо болтаетъ головою и щеголяетъ серебряною серьгою въ ухѣ; черезъ три года онъ служитъ половымъ въ трактирѣ и по складамъ разбираетъ статьи объ акціяхъ, Бисмаркѣ и опереткѣ.

И мало-по-малу, въ немъ окончательно созрѣваетъ идеалъ легкой жизни.

* * *

Это—накипь большаго города. Въ сущности большой городъ построенъ на легкой жизни, и съ этой точки зрѣнія, будущій воришка разсуждаетъ совершенно правильно и резонно. Такого дѣла, которое-бы

охватывало человѣка со всѣхъ сторонъ, и своею тяжестью дѣлало-бы невозможнымъ отступленіе въ сторону разныхъ соблазновъ, онъ предъ собою не видитъ. У всѣхъ легкая жизнь на разный манеръ, и всѣ кругомъ заняты добываніемъ бѣшеннаго рубля. Одинъ дѣлецъ очень мѣтко отвѣтилъ какъ-то въ порывѣ откровенности на вопросъ, что̀ такое выгодное дѣло. «Это такое дѣло, сказалъ онъ—въ которомъ чувствуется неуловимый оттѣнокъ мошенничества». Неуловимый оттѣнокъ мошенничества—несомнѣнно лозунгъ дня.

Въ сущности говоря, добрая половина «веселаго Петербурга» живетъ, если можно такъ выразиться, на границѣ гражданскаго и уголовнаго права. Съ одной стороны, это «дѣло», но съ другой стороны, это уже не дѣло, а мошенничество. Одинъ неосторожный шагъ,—что я говорю,—шагъ?—одинъ неосторожный полуоборотъ корпуса, и вы видите предъ собою совершенно типичный и готовый видъ шантажа. Вглядитесь въ дѣло при вечернемъ освѣщеніи: ничего, дѣло, какъ дѣло. Но «взойдетъ дневное свѣтило», и дѣло превращается уже въ преступную растрату или преступное вымогательство.

Неуловимые признаки мошенничества сгустили атмосферу до такой степени, что рѣшительно нельзя разглядѣть, гдѣ-же собственно начинается уголовное,

и гдѣ кончается гражданское право. Вы чувствуете только, что старыхъ опредѣленій стало недостаточно, что наступила какая-то новая полоса повальной безтолковщины и юридическаго столпотворенія, и что настоящій, форменный воръ и мошенникъ успѣлъ также выродиться, какъ и настоящій, форменный честный человѣкъ.

«Шевалье де л'Эндустри», это понятіе именно изъ словаря юридическаго столпотворенія. Въ сущности, чортъ его знаетъ, что онъ такое, какова его спеціальность и профессія. Онъ существуетъ неуловимостью,— только и всего. Въ немъ нѣтъ оформившагося и яснаго стремленія непремѣнно нарушить уголовный законъ. Но вся его дѣятельность проникнута такимъ характеромъ, что при случаѣ онъ совершитъ формальное преступленіе, съ такою же легкостью, съ какою при наличности аппетита, зайдетъ къ Доминику и выпьетъ рюмку водки. Представленіе о легкомъ рублѣ является какъ-то само собою, зарождается совершенно самостоятельно, на какой-то теоретической, что-ли, почвѣ Это даже не то, что торговое мошенничество, дѣловой или вѣрнѣе, дѣльческій tour de force надъ публикою, гдѣ погоня за рублемъ лежитъ болѣе или менѣе въ натурѣ самаго дѣла, и гдѣ обстановка жизни толкаетъ въ той или другой формѣ къ разнымъ соблазнительнымъ комбинаціямъ. Здѣсь просто какой-то слѣ-

ной азартъ, какая-то бѣшеная увѣренность, что рубль долженъ непремѣнно явиться, если его хорошенько поискать. Однимъ словомъ, это не рубль дѣла, можетъ быть и неправаго и мошенническаго, но все-таки дѣла, а именно рубль бездѣлія, настоящій «бѣшеный» рубль.

Припомните, напримѣръ, что̀ недавно показывалъ на судѣ одинъ изъ привилегированныхъ и культурныхъ подсудимыхъ. Онъ объяснялъ, между прочимъ, почему онъ ударился въ мошенническія продѣлки съ квитанціями ссуднаго ломбарда. «Изъ дому, показывалъ онъ,—денегъ мнѣ не присылали. Я обращался къ нѣсколькимъ лицамъ съ просьбами о займахъ, но ни отъ кого не получилъ. Что̀ же мнѣ оставалось дѣлать?» На этомъ коротенькомъ показаніи вы можете прослѣдить всѣ градаціи бѣшенаго рубля. Сначала бѣшеный рубль понимается, какъ какая-то вѣчная пенсія, которая должна поступить изъ наслѣдственныхъ суммъ и устранять всякую мысль о трудѣ и честномъ заработкѣ. Затѣмъ, когда пожизненная рента становится миѳомъ, у поклонника бѣшенаго рубля первая мысль возникаетъ опять таки не о дѣлѣ, и не о трудѣ, и не о кускѣ хлѣба, добываемомъ въ потѣ лица, а о займѣ, о безконечномъ займѣ безъ отдачи, т. е. еще разъ о своеобразной кредитной рентѣ. Наконецъ, когда и этотъ разсчетъ оказывается несостоятель-

нымъ, поклонникъ бѣшенаго рубля приходитъ логически къ мысли о рентѣ третьяго рода, — рентѣ преступленія.

Столицы кишмя кишатъ такого рода людьми. Кто они, чѣмъ занимаются, почему всегда такъ хорошо одѣты, такъ сыты, такъ непринужденно веселы и такъ обаятельно свободолюбивы — этого никто не умѣетъ сказать. Съ виду они настоящіе джентльмены. Они не прячутся, какъ тати, не скрываются, какъ преступники, не стараются даже сойти за людей, занятыхъ какимъ нибудь дѣломъ или какою нибудь профессіею. У нихъ это вошло въ кровь, и бѣшеный рубль, добытый чортъ знаетъ какими путями, составляетъ для нихъ своего рода непререкаемый догматъ. Всѣ глупые люди должны быть приставлены къ какому нибудь дѣлу и изнывать подъ его тяжестью и властью. Но они, носители культа легкаго и бѣшенаго рубля, поставлены въ совершенно исключительныя условія и могутъ весь вѣкъ прожить безпечально между операціями займовъ, темными комиссіями, дутыми гешефтами и остроумнымъ мошенничествомъ. Потому что, видите ли, они до этого додумались, сжились съ такимъ строемъ существованія, и другой образъ жизни совершенно невозможенъ для ихъ благородныхъ привычекъ.

Какъ видите, это не только удивительно безсо-

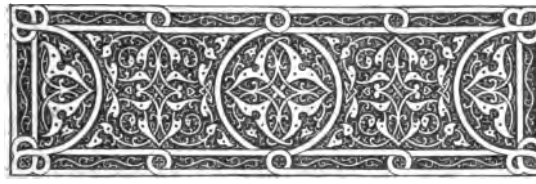
вѣстный культъ, но и удивительно мѣднолобый. Я никакъ не пойму, какъ люди, получившіе образованіе и привыкшіе сознательно относиться къ жизни, живутъ десятки лѣтъ въ этой легкой сферѣ бѣшенаго рубля, не впадая въ отчаяніе отъ полной безпочвенности и неопредѣленности своего положенія. Допустите на минуту, что они дѣйствуютъ слѣпо, не по убѣжденію, что настоящій рубль есть именно бѣшеный, а такъ, безъ всякаго воззрѣнія и взгляда, — и вы тотчасъ же убѣдитесь, что это невозможно, и что представители бѣшенаго рубля не могли бы поддерживать свое существованіе на протяженіи болѣе или менѣе продолжительнаго времени. Но здѣсь именно дѣйствуетъ принципъ, какая-то органическая слѣпота, какая-то предразсудочная складка, заставляющая служителей бѣшенаго рубля не только дѣйствовать въ извѣстномъ направленіи, но и находить это направленіе единственно достойнымъ порядочнаго существованія.

*
* *

Мелкій воришка-домушникъ съ его лакейскою распоясанностью—прямой продуктъ этого господствующаго тона легкой жизни. И если онъ сразу впадаетъ въ уголовщину, такъ это потому, что его первобытному уму совершенно недоступны другія формы лег-

каго существованія. Для того, чтобы выдумать что-нибудь безопасное, нужна большая изобрѣтательность. А такъ, чего же проще? Стащилъ и продалъ, а затѣмъ бражничай въ трактирѣ...

Тутъ все сводится только къ уголовнымъ оттѣнкамъ. Но сущность нашей лихорадочной жажды наслажденія, подъ вліяніемъ которой совершенно забывается, что нормальный рубль есть рубль трудовой, облитый потомъ,—одинакова въ обоихъ случаяхъ. Трактиръ съ селянкою, съ одной стороны, «Самаркандъ» съ рыжеволосою француженкою, хоромъ цыганъ и шампанскимъ — съ другой. И соотвѣтственно съ этимъ, съ одной стороны, обыкновенный ломъ, съ другой — тонко-вытравленная и выгравированная бумажка. Каждому по мѣрѣ и силѣ способностей...



ЖЕРТВЫ КНИГИ.

Наша критика обратила вниманіе на новый, впрочемъ давно уже напечатанный, романъ Бурже «Le Disciple». По этому поводу мнѣ пришлось прочитать нѣсколько статей, и очень положительныхъ, и очень отрицательныхъ. Однѣ были очень скучны, другія изо всѣхъ силъ старались интересничать и ударить въ носъ чѣмъ нибудь совершенно неожиданнымъ и оригинальнымъ. Романъ, впрочемъ, дѣйствительно таковъ, что возбуждаетъ множество крайне любопытныхъ и «животрепещущихъ», какъ говорятъ въ передовыхъ статьяхъ, вопросовъ, и этимъ вполнѣ оправдывается предпочтеніе, которое оказываетъ наша критика иностранному роману предъ отечественною стряпнею, давно уже не поднимающеюся на уровнемъ дамскаго безразличія.

Романъ Бурже озаглавленъ—«Le Disciple». Заглавіе довольно удачное, но еще болѣе правильно бы-

ло-бы озаглавить его—«Жертва книги». Не только идея романа сводится къ этому, но и все теченіе повѣтствованія направлено единственно къ тому, чтобы показать, сколько черстваго безсердечія и практической безпомощности вноситъ «книга» въ человѣческую жизнь. Грелу, послушный ученикъ «книги», воплощенной въ лицѣ его учителя, впадаетъ въ состояніе, близкое къ нравственному безразличію, и совершаетъ рядъ гнусностей, вытекающихъ изъ буквы «книги», но возмутительныхъ самихъ по себѣ. Развращая дѣвущку, онъ опять-таки прибѣгаетъ ни къ чему иному, а къ той-же «книгѣ», къ холодному орудію теоретическаго ума. Наконецъ, самъ великій учитель, Сикстъ, это воплощеніе «книги» и только книги, внушаетъ къ себѣ жалость своею полною практическою безпомощностью и негодностью. Что онъ, въ сущности, такое: великій ученый или великій маніакъ—остается загадкою. Вѣрнѣе, онъ и то, и другое: великій ученый, ополоумѣвшій отъ бездны премудрости. Такимъ образомъ, передъ читателемъ проходитъ цѣлый рядъ жертвъ книги, людей, которые могли-бы жить, какъ люди живутъ, но свихнувшихся съ пути и исковеркавшихъ свою жизнь. И не они взяли верхъ надъ книгою, а книга всецѣло подчинила и поработила ихъ шатающуюся волю.

Бурже показываетъ въ романѣ то, что въ сущ-

ности, уже давнымъ давно извѣстно изъ жизни. Мы всѣ до извѣстной степени жертвы книги. Я говорю не объ умственномъ переутомленіи и не о физическомъ вырожденіи, а о нравственной сторонѣ нашей природы и обо всемъ складѣ нашей жизни, которая даже въ мелочахъ отражаетъ на себѣ всемогущее вліяніе книги. Это начинается съ самаго юнаго, нѣжнаго возраста, и «Робинзонъ Крузэ» пролагаетъ первую брешь въ нашемъ нетронутомъ существѣ. Кто знаетъ? Быть можетъ, двѣ трети сумасбродствъ, нелѣпыхъ фантазій, безплодныхъ порывовъ и горькихъ разочарованій обязаны именно этой раскрашенной книжкѣ, которую мы въ былое время читали съ такимъ кипучимъ восторгомъ. А «Всадникъ безъ головы»? О, этотъ всадникъ! Я убѣжденъ, что тысяча людей, благодаря ему, потеряли давнымъ-давно голову и только искусственно, или по инерціи, держатся на жизненномъ сѣдлѣ...

Возьмите болѣе поздній періодъ, періодъ безпорядочнаго глотанія Дрэперовъ въ перемежку съ Гюго, Вальтеръ-Скоттомъ, Павломъ Вейнбергомъ и чортъ знаетъ чѣмъ еще. Припомните этотъ острый, почти болѣзненный процессъ роста сознанія, эту лихорадочную пору возбужденія и таинственнаго, такъ сказать, мельканія идеаловъ. Мы ковали тогда, при помощи книги, свою судьбу, и нынче мы отдуваемся и за Дрэпера, и

за Виктора Гюго, и, можетъ-быть, даже за Павла Вейнберга. Отчего мы избрали ту или другую карьеру, отчего мы резонируемъ, вмѣсто того, чтобы слѣдовать указаніямъ сердца, отчего мы неудачно женились, нелѣпо воспитываемъ дѣтей и вѣчно чувствуемъ у себя, на днѣ совѣсти, присутствіе какого-то незаметнаго червячка? Подумайте серьезно надъ отвѣтомъ, порой-тесь хорошенько у себя въ памяти, и я убѣжденъ, что вы не одного автора выругаете нехорошимъ словомъ.

Но есть крупное различіе между виною и вмѣняемостью. Грелу, герой романа Бурже,—жертва книги, но не книгѣ слѣдуетъ вмѣнить его паденіе, и не ей слѣдуетъ принести искупительную жертву за жертву. Книга, въ концѣ концовъ, только фокусъ зеркала, въ которомъ собираются всѣ культурные лучи, откуда-бы они ни исходили. Разумѣется, если долго смотрѣть на фокусъ зеркала, то можно и ослѣпнуть, но развѣ этотъ результатъ можно вмѣнить зеркалу? Развѣ дѣло въ зеркалѣ, а не въ солнцѣ, первоисточникѣ жизни и всего существующаго?

Множество женщинъ впрыскиваетъ себѣ морфій, истощаетъ себя въ конецъ и умираетъ въ цвѣтущемъ возрастѣ. Несомнѣнно, что онѣ—жертвы морфія, но точно также несомнѣнно, что дѣло совсѣмъ не въ морфіѣ, а въ чемъ-то другомъ, несравненно болѣе круп-

номъ и важномъ. Въ безудержномъ стремленіи къ морфію сказывается каждый горькій моментъ жалкой доли, каждый поцѣлуй, принесшій разочарованіе, каждая новая морщина, каждый новый сантиметръ въ окружности корсета. Морфій только послушное служебное орудіе, и когда морфиноманка гибнетъ, она гибнетъ не отъ морфія, а отъ самой себя, отъ напряженности, изломанности своей нервной системы, отъ приниженной ограниченности женской натуры.

Во многомъ мы жертвы книги—это несомнѣнно. Но не книга ищетъ насъ, а мы ищемъ книгу. «Мы жить хотимъ, чтобъ мыслить и страдать». Таковъ культурный удѣлъ. Быть можетъ, если взвѣшивать на аптекарскихъ вѣсахъ, удѣлъ другаго рода былъ-бы пріятнѣе и удобнѣе. Это вопросъ гораздо болѣе общій, широкій и серьезный. Но въ предѣлахъ нашего удѣла мы ни за что не разстанемся съ книгою, потому что въ ней, какъ въ морфіѣ для морфиноманки, заключается для насъ вся прелесть и острота существованія...

* * *

Тѣмъ не менѣе, фатальный вопросъ: что̀ дѣлать съ книгою?—давно уже тяготѣетъ надъ человѣчествомъ. Еще Руссо полагалъ, что водворить миръ и благоволеніе во человѣцѣхъ можно только обратившись къ естественному состоянію и воспитывая подростающее по-

колѣніе не при помощи книги, а при помощи природы.

Съ другой стороны, къ этому-же выводу пришелъ и Фамусовъ, когда совѣтовалъ «собрать всѣ книги, да и сжечь». Фамусовы не перевелись и теперь, и на страницахъ нѣкоторыхъ изданій можно ежедневно встрѣтить любопытныя варіаціи на эту тему. Но есть крупная, непроходимая, такъ-сказать, разница между фамусовскимъ міросозерцаніемъ и пріемомъ Руссо. Для Руссо книга есть продуктъ всей культуры; она на столько-же сама вредно вліяетъ на людей, на сколько сама страдаетъ отъ общихъ культурныхъ условій. Для Фамусова книга есть только книга, и стоитъ ее сжечь, какъ миръ и благоволеніе водворятся во человѣцѣхъ.

Современный походъ Фамусовыхъ противъ книги и печатнаго слова сохраняетъ тотъ-же-характеръ. Недавно у насъ заговорили объ этомъ, между прочимъ, по поводу самоубійствъ, которыя будто бы отъ того такъ и плодятся, что печать чрезвычайно подробно передаетъ всѣ подробности и такъ сказать, ихъ смакуетъ. При этомъ спеціальномъ обвиненіи, суровые Катоны, принужденные «по нынѣшнимъ временамъ» щеголять въ демикотоновыхъ халатахъ, не упустили, разумѣется, случая высказать нѣсколько туманныхъ соображеній на счетъ того, что вотъ, молъ, печать не

отвѣчаетъ своему прямому назначенію и вмѣсто прямой пользы, приноситъ прямой и косвенный вредъ.

Ахъ, эта бѣдная печать! Не знаю, можетъ быть потому, что я имѣю честь принадлежать къ ея рядамъ и приросъ къ ней, какъ устрица приростаетъ къ раковинѣ, но только подобныя общія обвиненія хватаютъ меня прямо за сердце. Я нисколько не отрицаю, что разсказъ о самоубійствѣ или убійствѣ, точно такъ-же, какъ и заманчивая теорія какого нибудь нравственнаго декаданса, какъ и художественное изображеніе картиннаго грѣха можетъ подѣйствовать извѣстнымъ раздражающимъ образомъ. Какъ случится: иной отъ водки придетъ въ изступленіе, другой—отъ пары прекрасныхъ черныхъ глазъ, третій—отъ талантливаго репортерскаго отчета. Но очевидно, здѣсь виновата не водка, не пара черныхъ глазъ, не талантливое перо репортера Сидорова, и даже не злоупотребленіе всѣми этими раздражающими предметами, а виновато—нѣчто другое, безконечно болѣе сложное и замысловатое. Все это, и водка, и «очи черныя», и репортеръ Сидоровъ—только маленькіе и ничтожные эпизоды нашего нервнаго существованія, подобно тому, какъ на сценическихъ подмосткахъ группируется тьма мелочей вокругъ центральнаго узла драмы.

«Нашъ нервный вѣкъ»—тоже драма въ пяти дѣйствіяхъ. Въ чемъ заключается движущій нервъ

этой драмы—я сказать не умѣю, но во всякомъ случаѣ, не въ одномъ, не въ другомъ и не въ третьемъ. Есть врачи, которые полагаютъ, что нервическая разслабленность современнаго человѣка зависитъ во многомъ отъ никотина, который мы поглощаемъ въ табакѣ. Разумѣется, и никотинъ имѣетъ свою долю вліянія Но ее имѣетъ, если хотите, и велютинъ, и абрикотинъ, и телеграфъ, и желѣзная дорога, и водка, и «очи черныя», и колокольчикъ коножелѣзки, и театръ, и клубъ.

Возьмите какого нибудь Жака-распарывателя животовъ, этотъ тончайшій и совершеннѣйшій продуктъ нервнаго истощенія и психопатической озвѣрѣлости. На этомъ Жакѣ, какъ на какой-нибудь мудреной горной породѣ, вы можете прослѣдить длиннѣйшій рядъ послѣдовательныхъ наслоеній культурной и нервической мерзости. Здѣсь нѣсколько поколѣній горьчайшихъ пьяницъ, опаивавшихся виски до одурѣнія; нѣсколько вѣковъ жеванія и куренія табаку; нѣсколько столѣтій шумной; оглушающей лондонской жизни, съ ея сырымъ небомъ, таинственными ночевками подъ арками мостовъ, дымомъ и копотью паровыхъ трубъ, митингами, спортомъ, парламентскими засѣданіями, ирландскими феніями и чортъ знаетъ, чѣмъ еще. И наконецъ, цѣлая полоса культурнаго безвѣрія, душевной невозмутимости, сквернаго холод-

наго эгоизма, лицемѣрія, черствости и ханжества, которыя вошли въ національный характеръ англичанъ, быть можетъ, еще за долго до битвы при Гастингсѣ. Такъ вотъ соберите все это и сопоставьте съ самымъ талантливымъ Сидоровымъ, какой только существовалъ по части страховъ и ужасовъ—съ Эдгаромъ Поэ. Что́ такое Эдгаръ Поэ? Ничтожная пылинка въ вихрѣ нашего нервнаго вѣка, и прежде всего потому ничтожная, что самъ Эдгаръ Поэ былъ не чѣмъ нибудь самостоятельнымъ, не новымъ, извнѣ пришедшимъ плюсомъ, а такимъ же продуктомъ никотиновъ и абрикотиновъ, какъ и все пестрое содержаніе нашего нервнаго вѣка. Эдгаръ Поэ такой-же теоретикъ раффинированной жестокости, какъ Жакъ—практикъ. Но сущность Жака не въ Жакѣ, и сущность Сидорова не въ Сидоровѣ. Она въ атмосферѣ, которою мы дышемъ, въ подкладкѣ пальто, которое мы носимъ, въ вагонѣ, въ которомъ мы ѣздимъ, въ пріемахъ, которыми мы мыслимъ, и въ способахъ, какими мы вѣримъ.

И вотъ замѣтьте: никто не рѣшается объявить, что слѣдуетъ похерить всю нашу культуру для того, чтобы ослабить нервозность; если кто-нибудь заговоритъ, напримѣръ, о вредѣ желѣзныхъ дорогъ, какъ это случилось не очень давно съ однимъ публицистомъ, то его просто поднимаютъ на смѣхъ, и этимъ кончаютъ разговоръ. Но когда тотъ-же, положимъ, публицистъ

заявляетъ, что по его соображеніямъ, ни о самоубійствахъ, ни объ убійствахъ не слѣдуетъ печатать, и что виноватъ во всемъ Сидоровъ, то Сидоровъ смиренно уходитъ въ уголъ и оттуда слушаетъ нотацію.

Вотъ что обидно. Я не говорю, что въ этой сумятицѣ нервнаго существованія печать не причемъ. Но меня возмущаетъ тотъ несправедливый уголъ зрѣнія, которымъ пользуются всѣ, когда заговариваютъ о нервномъ вѣкѣ. Желѣзная дорога—это ничего, сдѣлайте одолженіе; абрикотинъ и велютинъ—тоже ничего и тоже культура; первое общество конно-желѣзныхъ дорогъ, порождающее своими звонкими колокольчиками тысячи тиковъ и мигреней—опять-таки ничего и опять-таки культура. Но разъ дѣло касается печати, то культура выходитъ уже не культура, а только разсадница нервныхъ болѣзней.

А между тѣмъ, по Сенькѣ — шапка. Эдгаръ Поэ необходимъ для прокопченнаго табакомъ, пропитаннаго алкоголемъ и изъѣденнаго вѣковою червоточиною ирландца или потомка побѣдителей Техаса. Сикстъ изъ романа Бурже приходится въ пору, какъ нельзя лучше, изломанному и изнѣжничавшемуся сыну парижской культуры, «Золотой Мухѣ», выросшей на «Фигаро», пачули и половыхъ эксцессахъ. И даже «Разбойникъ Чуркинъ», о которомъ какъ-то писали въ газетахъ, этотъ простой, незамысловатый разбой-

никъ, вполнѣ отвѣчаетъ не только вкусамъ, но и традиціямъ московскаго охотнаго ряда. «Мусоръ къ мусору», какъ выражется какой-то персонажъ у Гл. Успенскаго, и трудно сказать, гдѣ собственно кончается развратитель, и гдѣ начинается жертва.

БѢДНЫЙ ВАНЬКА

Дня три-четыре назадъ мальчикъ лѣтъ 10—12 (фамиліи не помню) бросился съ моста въ Неву. По нашему русскому обыкновенію, прохожіе остановились цѣлою толпою, хлопали руками, звали дядю Миная и дядю Митяя, приговаривали: «ахти, родимый»! и никакъ не могли ума приложить, что̀ дѣлать. Такъ-бы мальчикъ и пошелъ во дну. Къ счастью, въ это время проходилъ какой-то прилично одѣтый молодой человѣкъ; онъ живо снялъ сапоги и пальто, бросился въ воду, нырнулъ нѣсколько разъ и вытащилъ мальчика за вихры. Мальчикъ оказался упорнымъ пессимистомъ. Онъ жалѣлъ, что ему не дали умереть, онъ смотрѣлъ на своего благороднаго и самоотверженнаго спасителя почти съ ненавистью; онъ разсказывалъ со слезами на глазахъ, что мастеръ, которому онъ отданъ въ ученье, бьетъ его немилосердно, истязаетъ, мучаетъ, и что при такихъ условіяхъ ему жить невозможно. «Одинъ

конецъ!» говорилъ этотъ маленькій тщедушный философъ, такой мокрый, жалкій, забитый...

Толпа, разумѣется, охала, опять звала дядю Миная и дядю Митяя, и опять недоумѣвала, что̀ дѣлать. Къ счастью, явился городовой, позвалъ извощика, и отправилъ трясущагося мальчика въ больницу. Толпа живо разошлась, и черезъ двѣ минуты забыла и о несчастномъ мальчикѣ, и обо всей этой грустной исторіи. Ибо всѣ, видите-ли, спѣшили по собственнымъ дѣламъ, и всѣмъ было до чрезвычайности недосужно. Недосужно было и мнѣ. Я уже дня три, какъ прочиталъ газетный отчетъ или, какъ выражаются, «рефератъ» объ этомъ происшествіи, и три дня все собирался посвятить нѣсколько строкъ судьбѣ несчастнаго мальчика. Да вотъ все по собственнымъ дѣламъ хлопоталъ. Ужь очень намъ всѣмъ недосужно, когда приходится по душѣ побесѣдовать.

Позвольте мнѣ прибѣгнуть къ цитатамъ:

«А вчерась мнѣ были выволочки. Хозяинъ меня выволокъ за волосья на дворъ и отчесалъ шпандыремъ за то, что я качалъ ихняго ребятенка въ люлькѣ, и по нечаянности заснулъ. А на недѣлѣ хозяйка велѣла мнѣ почистить селедку, я началъ съ хвоста, а она взяла селедку и ейной мордой начала мнѣ въ морду тыкать».

...«Нѣту никакой моей возможности... Кланяюсь

тебѣ въ колѣни и буду вѣчно Бога молить, увези меня отсюда, а то помру... Я буду тебѣ табакъ тереть, а ежели что, то сѣки меня какъ сидорову козу. А ежели думаешь, должности мнѣ нѣту, то я Христа-ради попрошусь къ приказчику сапоги чистить, али замѣсто Федьки въ подпаски пойду»...

Вотъ что писалъ Ванька года два назадъ, когда его только въ ученье отдали. Написалъ онъ сверху: «На деревню дѣдушкѣ Константину Макарычу», и бросилъ письмо въ ящикъ. Узналъ про это г. Чеховъ и очень художественно изобразилъ въ миніатюрномъ разсказѣ. Мы всѣ читали и похваливали, даже очень похваливали. Одинъ у меня знакомый учитель словесности есть, такъ онъ даже ученикамъ диктуетъ отрывки Ванькинаго письма. Потому что, главное, понимаете-ли, это въ высшей степени художественно. «Отчесалъ шпандыремъ», «а ежели что, то сѣки меня, какъ сидорову козу», «нѣту никакой моей возможности»... Помилуйте! Вѣдь это что-же! восторгъ! шедевръ!

И вотъ, пока мы художественно млѣли предъ этимъ «нѣту никакой моей возможности», бѣдный Ванька кривилъ ротъ, теръ черными отъ грязи кулаками слезящіеся глаза, и чувствовалъ, что теоретическая формула «нѣту никакой моей возможности» приближается къ логическому концу и практическому раз-

рѣшенію. Отъ дѣдушки Константина Макарыча ни слуху, ни духу. «А намедни хозяинъ колодкой по головѣ ударилъ, такъ что упалъ и насилу очухался. Пропащая жизнь, хуже собаки всякой...» И бѣдный Ванька рѣшился. Онъ выбралъ почти романтическій моментъ, «подъ вечеръ осенью ненастной», собралъ всѣ остатки своего растерзаннаго деревенскаго духа и перекрестясь, побѣжалъ. Прибѣжалъ къ Невѣ: страшно, холодно... А надо. Надо потому, что «нѣту никакой моей возможности»...

* * *

Застрѣлился гдѣ-то чувашъ отъ тоски по родинѣ. И сейчасъ распорядились не мѣшать чувашамъ пѣть свои родныя пѣсни. Распоряженіе прекрасное, а все таки жаль, что о взрослыхъ чувашахъ больше заботятся, нежели о малыхъ дѣтяхъ. Никто объ нихъ не думаетъ, по крайней мѣрѣ до тѣхъ поръ, пока крики истязуемаго Ваньки не дойдутъ до слуха какой-нибудь сердобольной сосѣдки, и та не пойдетъ по начальству. А это бываетъ очень рѣдко, потому что Ванька не смѣетъ кричать и еще больше злить хозяина.

По настоящему, еще вопросъ, что̀ лучше: чтобы Ванька притерпѣлся и выжилъ, или чтобы умеръ въ дѣтскомъ возрастѣ. Я боюсь, что когда Ванька станетъ Иванъ Иванычемъ и будетъ посѣщать ремеслен-

ныя собранія, онъ будетъ очень скверный Иванъ Иванычъ и очень скверный членъ ремесленнаго собранія. Я думаю, что въ его сердцѣ на вѣки останется неизгладимая печать жестокости, безцѣльной злобы и какого-то подлаго разнузданнаго звѣрства, которыми въ былое время онъ былъ доведенъ до мысли, что «нѣту никакой моей возможности». Я подозрѣваю, что многіе изъ господъ членовъ ремесленныхъ собраній, и преимущественно тѣ изъ нихъ, которые считаются столпами и главными противниками толстомясыхъ Богданъ Богданычей и Карлъ Карлычей,—что многіе изъ нихъ въ былое время забивались подъ печку, горько плакали по случаю этой самой «ейной морды», которою хозяйка безпричинно тыкала имъ въ физіономію, и писали дѣдушкѣ Константину Макарычу письма на деревню, и просили его «пожалѣть меня сироту несчастную», а ежели что, то сѣчь какъ сидорову козу, но сѣчь безъ злобы, безъ звѣрства, безъ сладострастнаго упоенья. Какъ быстро все забывается! «Какъ мы нынче состоимъ при собственномъ дѣлѣ, думаетъ бывшій бѣдный Ванька,—обязаны мы дѣтей учить аль нѣтъ?»

Пора, въ самомъ дѣлѣ, подумать надъ судьбою бѣдныхъ Ванекъ. У насъ сердобольныя дамы ужасно любятъ заботиться о хронически-больныхъ и золотушныхъ дѣтяхъ. И точно, нѣсколько разъ въ годъ встрѣ-

чаешь въ газетахъ очень округленныя и пріятныя цифры кассовой и пріютской отчетности. Это очень трогательно, разумѣется, но почему незолотушные, не хронически больные, а здоровые, свѣжіе, какъ деревенскій воздухъ, Ваньки предоставляются всякаго рода истязаніямъ, мученіямъ и лишеніямъ, превращающимъ ихъ въ концѣ концовъ въ кліентовъ филантропическихъ пріютовъ—этого я не понимаю. Неужели трогательнѣе всего на свѣтѣ золотуха, а крикъ физической боли у здороваго человѣка ничего не стоитъ?

ФАБРИКАНТШИ РОМАНОВЪ.

Въ одномъ ежедневномъ петербургскомъ изданіи появился постоянный отдѣлъ «Обиходная рецептура». Въ этомъ отдѣлѣ сообщается въ назиданіе читателямъ, какъ жарить кофе, какъ выводить пятна на платьяхъ, какъ отличать маргариновое масло отъ настоящаго и фальсифицированное вино отъ чистаго. Все это въ высшей степени поучительно и интересно. Я лично каждый день съ большимъ вниманіемъ пробѣгаю строчки обиходной рецептуры. Разумѣется, это не мѣшаетъ мнѣ по-прежнему очень скверно варить кофе и беззаботно смѣшивать кашинскій хересъ съ кашинскою мадерою, но научныя истины все таки пускаютъ глубокія корни въ моемъ сознаніи и образуютъ прочный осадокъ «обиходнаго» скептицизма.

Я жалѣю только объ одномъ, жалѣю по долгу и по званію читателя,—почему въ «обиходной рецеп-

турѣ» ничего не сообщается о томъ, какъ, съ одной стороны, написать обиходный романъ, а съ другой, какъ отличить обиходный романъ отъ простой оберточной бумаги? Время для такихъ указаній обиходной рецептуры давно созрѣло, и читатель ждетъ не дождется раскрытія тайнъ литературной химіи.

Вопросъ назрѣлъ самъ собою, совершенно естественно, подобно тому, какъ совершенно естественно на поверхность всплылъ вопросъ о наиболѣе раціональномъ способѣ варить кофе. Когда кофе употреблялся только въ гостиныхъ, дѣло, по самому существу, было такъ поставлено, что о дурномъ или дурно изжареномъ кофе не могло быть и рѣчи. За качествомъ кофе и за способомъ его приготовленія зорко надзиралъ хозяйскій глазъ. А что касается вкуса, то въ гостиныхъ господствуетъ такой изощренный вкусъ, который трудно провести на цикоріѣ и другихъ суррогатахъ. Но потомъ кофе демократизировался. Изъ гостиныхъ онъ проникъ въ кухни и людскія. «На своемъ горячемъ» стаю означать уже не только чай, но кофе, и даже преимущественно кофе. И вотъ эта демократизація, эта всеобщность—убили качество продукта.

Я прошу прощенія у лицъ, сохранившихъ къ литературѣ прежнее благоговѣйное отношеніе. Но по моему, судьба кофе есть судьба литературы.

* * *

Ростъ малокультурнаго читателя идетъ съ поражающею быстротою. И что всего обиднѣе, этотъ ростъ идетъ не только за счетъ неграмотной массы, но и за счетъ культурнаго меньшинства. Создалось своего рода читательское «средостѣніе», притягивающее къ себѣ съ одной стороны малограмотную дикость, а съ другой—образованный кругъ людей, растерявшій гдѣ-то назади и свой вкусъ, и свои привычки культурнаго класса. Для этого «средостѣнія» выработался совершенно особый, срединный типъ романа, въ которомъ нѣтъ ни тѣни литературы, а есть только одна печатная бумага.

Въ столицахъ это не такъ замѣтно. Но кто живалъ въ провинціи, въ особенности болѣе или менѣе удаленной отъ столичныхъ центровъ, тотъ знаетъ, до какой степени въ сознаніи массы утратилось представленіе о романѣ, какъ о художественномъ произведеніи. И вотъ уже много лѣтъ, какъ процвѣтаетъ «школа взаимнаго обученія», и пониженіе эстетическаго уровня совершается съ двухъ противоположныхъ сторонъ. Романъ обиходнаго свойства растлѣваетъ массу; обезличенная масса растлѣваетъ романъ.

Лучшимъ показателемъ эстетическаго паденія служитъ главенство женщины въ области романа. Къ несчастью, это не парадоксъ. Англійская литература перестала производить что либо мало-мальски выдаю-

щееся съ тѣхъ поръ, какъ романомъ прочно завладѣла лэди. Лэди—ужасное существо. Она въ состояніи написать столько варіацій на тему, не стоющую ломанаго гроша, и притомъ написать ихъ съ такою невѣроятною беззаботностью и легкостью, что способна привести въ отчаянье любаго джентльмена, обязаннаго по долгу службы слѣдить за эстетическимъ поведеніемъ лэди. Нѣмецкая литература представляетъ явленія такого-же порядка. Никогда такъ низко не стоялъ нѣмецкій романъ, какъ теперь, когда романистками, въ родѣ Фанни Левальдъ, Шубина, Вернера и пр., можно основательно запрудить широкій Рейнъ. И обратно, возьмите единственную литературу, стоющую серьезнаго вниманія и насчитывающую не мало историческихъ именъ — французскую, и вы увидите, какъ ничтожно въ ней участіе женщины.

Это ничего не доказываетъ, скажете вы. Можетъ быть, но за то оно много объясняетъ. Литературу нельзя разсматривать единственно съ точки зрѣнія вдохновенія и служенія музамъ. Литература, ближайшимъ образомъ, есть форма труда, подверженная всѣмъ законамъ экономическихъ отношеній. Когда отъ продукта требуется прежде всего дешевизна и доступность, первенствующее мѣсто на рынкѣ принадлежитъ не наиболѣе одареннымъ, но наиболѣе скорымъ работникамъ. Тамъ, гдѣ въ ходу грубая кустар-

ная работа, изящнымъ articles de Paris нѣтъ мѣста. Вотъ почему, вторженіе женщины въ сферу литературы означаетъ не только вторженіе бездарности, но и знаменуетъ также вытѣсненіе мужчины. Мужчинѣ, привыкшему въ большинствѣ къ тщательной отдѣлкѣ своихъ произведеній, къ долгому изученію сюжета, жизни, среды, экономически нѣтъ возможности угнаться за женскимъ трудомъ, одинаково дешевымъ— касается ли онъ выдѣлки набрюшниковъ изъ сосновой шерсти или многотомнаго творчества. Спросъ на романы великъ; читатель давно пересталъ смотрѣть на литературу, какъ на освѣжающій источникъ искусства. Ему нужно часа два-три въ день, послѣ обѣда и на сонъ грядущій, посвятить перелистыванью какого-нибудь романа, въ которомъ его интересуетъ не столько процессъ творчества, сколько процессъ чтенія. Разумѣется, удовлетворить этому интересу можно не качествомъ, а количествомъ. Нужно, напримѣръ, къ иллюстрированному изданію прилагать двѣнадцать книжекъ романовъ, и притомъ съ такимъ разсчетомъ, чтобы въ каждой книжкѣ былъ законченный романъ. Но вѣдь это можетъ только со стороны казаться, будто давать въ годъ какихъ нибудь 500 печатныхъ листовъ оригинальныхъ романовъ такъ легко. Романы не продаются въ депо и складахъ. Здѣсь важно имѣть увѣренность, что заказъ будетъ выполненъ аккуратно и

въ срокъ, безъ задержки, безъ особенныхъ претензій, хотя и безъ всякихъ выдающихся достоинствъ. Женщина обладаетъ вполнѣ всѣми этими качествами. Она усердная труженица, у нея очень красивый, каллиграфическій почеркъ, къ ней привыкли корректора, наборщики, она не настаиваетъ на авансахъ. Чего-же больше? Не боги же, въ самомъ дѣлѣ, горшки обжигаютъ, да и не боги въ печныхъ горшкахъ варятъ себѣ пищу.

Я знаю такой случай. Одной редакціи, выдающей, кромѣ журнала и двадцати двухъ премій различнаго свойства, отъ отрывнаго календаря до гигіеническихъ подтяжекъ, еще и романы, понадобился до зарѣзу историческій романъ, въ 15—20 листовъ, на извѣстную тему. Время не терпитъ; до выхода книжки, для которой предназначался историческій романъ, осталось не болѣе двухъ-трехъ недѣль, а упустить моментъ редакціи не хотѣлось. Что дѣлать? Вы бы махнули рукой, можетъ быть, но редакторъ былъ испытанный знатокъ своего дѣла и пригласилъ испытанную романистку. Черезъ *шесть* дней романъ былъ готовъ.

Бѣдные паровые локомобили! У нихъ появился серьезный конкуррентъ... въ лицѣ женщинъ-писательницъ...

*
* *

Я не даромъ говорилъ до сихъ поръ о женщинахъ-писательницахъ. Въ той сферѣ литературной фабрикаціи, о которой я говорю, женщина царитъ до такой степени, что мой очеркъ по необходимости выйдетъ этюдомъ по психологіи женскаго творчества. Разумѣется, имѣются въ извѣстномъ числѣ и мужчины соревнователи, усвоившіе себѣ рецептъ обиходнаго романа. Но, во-первыхъ, у романистовъ-мужчинъ, какъ бы подчасъ низко ни стояли ихъ произведенія, нѣтъ-нѣтъ, да и прорвется какая нибудь оригинальная, свѣжая черточка, выдѣляющая или, по крайней мѣрѣ, характеризующая произведеніе. Во-вторыхъ, фабриканты романовъ нерѣдко параллельно съ фабрикаціей пишутъ маленькія, а иногда и большія вещи, въ которыхъ выливается авторское «я». Происходитъ своего рода «раздѣленіе труда»: одную — фабрикаты, единственное назначеніе которыхъ скорѣе попасть на рынокъ и стать мѣновою цѣнностью, одесную — выношенныя литературныя произведенія, предметъ самолюбія и гордости. Худо это или хорошо, нормально или ненормально,—я не буду касаться этого вопроса. Я хотѣлъ только показать, почему я ищу типичнаго представителя обиходнаго романа не въ рядахъ авторовъ-мужчинъ, а въ рядахъ женщинъ-писательницъ. Только здѣсь можно найти ремесленную плоскость или, если хотите, ремесленную виртоузность дарованія безъ

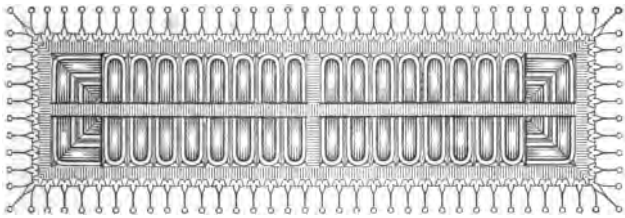
всякихъ примѣсей и въ совершенно чистомъ видѣ; только здѣсь авторская безцеремонность и беззаботность отливаются въ совершенно прозрачный кристаллъ простого фабриката.

Я не называю именъ, не потому, чтобы я боялся раздразнить гусей, и не потому также, чтобы назвать рядъ именъ представляло бы какія нибудь затрудненія Совсѣмъ напротивъ. Но такъ какъ я говорю объ обобщенной и собирательной единицѣ, то нахожу это совершенно излишнимъ. У меня предъ глазами стоитъ, какъ совершенно живой, образъ романистки, наводняющей рынокъ своими произведеніями, фигура, сотканная изъ дамской психологіи, дамскаго бытописанія, малиноваго, если можно такъ выразиться, жанра и исторической скорописи. Есть что-то гнетущее и тупое въ ощущеніи, которое производитъ этотъ образъ. Такъ, вѣроятно, дѣйствуетъ на туриста, привыкшаго наблюдать причудливыя очертанія альпійскихъ горъ и панораму какого-нибудь Лаго-Маджіоре, однообразіе лондонскихъ построекъ. Знать, что наворочено столько каменныхъ глыбъ, что дальше, назади и спереди, всюду, куда ни кинуть глазомъ, этихъ глыбъ еще больше, и что нигдѣ, рѣшительно нигдѣ нѣтъ ни одной черточки, ни одного штриха, на которомъ можно было бы остановиться на мгновеніе, это—очень тяжелое чувство, и прибавлю—понятное чувство. Жизнь, это—разнообразіе; талантъ,

это—индивидуальность; а гдѣ нѣтъ ни разнообразія, ни индивидуальности, тамъ вообще нѣтъ ничего, кромѣ скуки.

И повторяю: что всего обиднѣе и тяжелѣе—такъ это сознаніе, что безъ романистокъ все равно не обойдешься и рано или поздно, къ нимъ же придешь на поклонъ. Потому что, видите ли, у нихъ чрезвычайно счастливая организація и еще болѣе счастливая житейская философія. Онѣ вовсе не знаютъ, что такое «рамолисментъ», полное изможденіе и полное паденіе духовныхъ силъ, когда нѣтъ ни одного здороваго, не надорваннаго нерва; онѣ не признаютъ мукъ творчества и бѣшенаго своеволія мысли, не находящей себѣ выраженія. Онѣ пишутъ тогда, когда сидятъ за письменнымъ столомъ, и пишутъ ровно столько, сколько сидятъ за столомъ. И притомъ, онѣ совсѣмъ нецеремонны и берутъ столько, сколько имъ предлагаютъ.

Счастливый удѣлъ!



„ДЯДИНА" КАРЬЕРА.

Что̀ такое карьера?

Я задаю этотъ вопросъ въ полной увѣренности, что во первыхъ, онъ очень современенъ, а во вторыхъ, что толкомъ на него никто не отвѣтитъ. Въ концѣ лѣта вопросъ о карьерѣ ставится ребромъ. Сотни и тысячи молодыхъ людей выпускаются изъ разныхъ подготовительныхъ и учебныхъ заведенiй и останавливаются «на порогѣ къ дѣлу», т. е. къ карьерѣ. Другiя сотни и тысячи дѣтей снаряжаются въ далекiй путь ученья, которое, въ концѣ концовъ, должно опять таки привести ихъ къ загадочному порогу карьеры. Однимъ словомъ, карьера—это такое понятiе, которое всѣ произносятъ и которымъ всѣ думаютъ. Такъ вотъ, что̀ такое карьера?

На-дняхъ, просматривая отчетъ о рысистыхъ бѣгахъ, я остановился на слѣдующей, крайне характер-

ной фразѣ: «Не надо забывать, что «Дядя» — четырехлѣтокъ, и что стало быть впереди у него блистательная карьера, если, разумѣется, его не испортятъ». Совершенно такимъ же языкомъ говорятъ опытные и старые критики, поощряя молодые таланты: «Если легкая побѣда не вскружитъ голову г. Дядѣ, то принимая во вниманіе его молодость и несомнѣнные задатки художественнаго дарованія, ему предстоитъ блистательная карьера. Но удержится ли г. Дядя на стезѣ труда, выдержки и самоусовершенствованія?»

Что̀-же такое карьера?

* *
*

Съ тѣхъ поръ, какъ рысаки «Дяди» стали «дѣлать карьеру», вопросъ несомнѣнно упростился, по крайней мѣрѣ съ спеціальной точки зрѣнія. «Дѣлать карьеру» значитъ бѣжать, что есть духу, съ высунутымъ языкомъ, все впередъ и впередъ, обгонять другихъ «Дядей», которые тоже высунули языкъ отъ усталости, и брать призы, призы безъ конца. Притомъ, призъ, ради котораго высовывается «дядинъ» языкъ, понимается въ самомъ узкомъ и ограниченномъ смыслѣ этого слова. Тотъ самый призъ, что составленъ изъ разноцвѣтныхъ ассигнацій, ни больше, ни меньше, именно лошадиный призъ, который присуждается не исторіею, не потомствомъ, не благодар-

ными современниками, а только гг. Цѣлибѣевыми, стоящими у старта.

Однимъ словомъ, карьера нынче признается только въ «дядиномъ» значеніи. Главное—это перебить «секунды», какъ выражаются на скаковомъ жаргонѣ, у другихъ «дядей» и выхватить изъ подъ чужаго носа пакетецъ съ призомъ. Всѣ усилія и старанія направлены къ тому, чтобы выработать въ себѣ особаго рода рѣзвость и приспособленность къ грунту, на которомъ приходится бѣжать. Вы видали, разумѣется, настоящую скаковую или рысистую лошадь? Въ ней все такъ втянуто и вытянуто, что въ концѣ концовъ, получается не типъ нормальной лошади, какимъ Богъ ее создалъ, а какой-то искусственный уродецъ изъ музея рѣдкостей. Вы такъ и чувствуете, что здѣсь нарушена, поругана и надорвана въ самомъ корнѣ цѣльность лошадиной натуры, что одна половина существа принесена безъ колебаній въ жертву другой, и что иначе быть не можетъ въ интересахъ «дядиной» карьеры...

Мнѣ кажется, что если подающій такія блистательныя надежды, четырехлѣтокъ «Дядя» способенъ сколько-нибудь анализировать свои ощущенія и обсуждать болѣе или менѣе хладнокровно свое положеніе, то ему есть отъ чего впасть въ меланхолію. Ну, вотъ ему нынче 4 года; ноги у него тонкія, сильныя; хо-

зяинъ глядитъ на него, не налюбуется, сбруя великолѣпная, овса сколько угодно, да если разсудить въ общемъ-то, такъ и дѣла у него собственно чрезвычайно мало. Ну, да и уваженіе, разумѣется, конюхъ тамъ и прочее— невѣжливаго слова не услышишь: чрезвычайно галантерейное обращеніе. Товарищи, тѣ, конечно, съ завистью относятся, однако, наружно крайне почтительны, и если игры какія-нибудь устраиваются, всегда ему первое мѣсто отводятъ: «Позвольте, говорятъ, здѣсь «Дядѣ» стать, онъ у насъ талантъ, блистательно карьеру началъ». И при всемъ томъ, однако, чувствуетъ онъ, что въ душѣ что-то у него гложетъ, да такъ гложетъ и сосетъ, что иной разъ плакать хочется. Помилуйте! Что̀-же это за жизнь? Какой въ ней смыслъ? Бѣгай, какъ съумасшедшій, по ипподрому, да добывай призы. Ни цѣли выспренной, ни мысли искренней, ни разумнаго труда, ни заслуженнаго покоя. Вонъ въ деревнѣ старшій братъ его остался, Коняга (у него названія нѣтъ особаго), такъ у него на рукахъ или на ногахъ, какъ хотите, цѣлая семья свое благополучіе создала. Онъ понимаетъ, по крайней мѣрѣ, зачѣмъ живетъ и каковъ непосредственный смыслъ его лошадинаго существованія. Оно, конечно, онъ карьеры ни блистательной, ни неблистательной не собирается дѣлать, да впрочемъ, и не понимаетъ, что такое карьера. Сказалъ ему какъ-то

«Дядя», наканунѣ прощанія, что «я, молъ, ѣду въ Петербургъ блистательную карьеру дѣлать», но Коняга помахалъ только хвостомъ и отвѣтилъ:

— Не знаю я, какая тамъ у васъ карьера, а только дѣла вездѣ много; а насчетъ, напримѣръ, сѣна, то я думаю, что такого тонкаго, зеленаго и ароматнаго сѣна, какъ у насъ, — въ Петербургѣ, пожалуй, не сыщешь...

Деревенская необразованность, конечно. Но съ другой стороны, какое положительное содержаніе вноситъ хватанье призовъ и блистательная карьера въ жизнь «Дяди»? Развѣ призы освѣтили «дядино» сердце? Развѣ карьера прибавила хотя-бы одинъ атомъ спокойствія и внутренней удовлетворенности къ «дядиному» существованію? Развѣ пройденный жизненный путь, усѣянный трофеями, облегчилъ хотя-бы одно страданіе, помогъ хотя-бы одному горю, унялъ хотя-бы одну печаль? Холодный блескъ—вотъ итогъ блистательной карьеры, блескъ, отъ котораго не загорѣлось ни одно сердце, не смягчилась ничья душа...

А между тѣмъ, всѣ кругомъ кричали: карьера! карьера! счастливецъ! талантъ! И онъ, этотъ бѣдный, разбитый «Дядя», напрягалъ всѣ усилія; онъ набиралъ такое количество воздуха, что легкія, казалось, готовы были лопнуть отъ напряженія; въ суставахъ у него словно дрожали электрическія искры, въ бо-

кахъ чувствовалась тупая боль, и обильная пѣна выступала изо рта, съ примѣсью алой крови... Но онъ все бѣжалъ, все бѣжалъ, потому что въ ушахъ, не переставая, гудѣло это фатальное слово «карьера».

* *
*

Я читалъ не очень давно въ газетахъ, что нынѣшнимъ лѣтомъ археологи откопали въ окрестностяхъ какого-то монастыря два человѣческихъ скелета, ростомъ, если можно такъ выразиться, въ сажень и два вершка. Это, по нынѣшнимъ временамъ, совершенно гигантскіе размѣры. Нынче человѣкъ пошелъ маленькій, дохленькій, какй-то незначительный... И мнѣ кажется, это именно потому, что нынче человѣкъ собственно не живетъ, а только дѣлаетъ «дядину» карьеру. Переутомленіе ради карьеры; поздній бракъ—для карьеры; подвижность и вѣчное нервное трепетанье ради карьеры; преждевременная юность преждевременная старость, безцѣльное шатанье, — все изъ-за карьеры или ради карьеры.

У всѣхъ предъ глазами стоитъ четырехлѣтокъ «Дядя» съ его призомъ общества рысистыхъ испытаній. Каждая заботливая маменька начинаетъ чуть-ли не съ двухъ лѣтъ готовить своего ребенка къ карьерѣ. Серсо, шотландскія панталоны и куртки съ прошивками—даже тѣ носятся не такъ себѣ, не для удо-

вольствія, не для изящества, а именно для карьеры. Вы послушайте только, какіе теперь разговоры идутъ въ родительскихъ кругахъ! Вѣдь нужно дойти до полной, именно скаковой или рысистой, отрѣшенности, до полнаго извращенія человѣческаго смысла, чтобъ такъ волноваться вопросомъ о карьерѣ 8-лѣтняго Миши и 10-лѣтняго Пети! И при этомъ, ни малѣйшей заботы, что у Миши и Пети, подъ шумокъ карьерныхъ тревогъ, если не ростъ, то навѣрное, человѣческая сущность убавилась, по крайней мѣрѣ, на два вершка. Я убѣжденъ, пожалуй, что иная добродѣтельная маменька подозвала какого-нибудь Мишу или Петю, ткнула пальцемъ въ то мѣсто газеты, гдѣ разсказывается о блистательной карьерѣ «Дяди», и непремѣнно прибавила:

— Вотъ видишь, Петя: «Дядѣ» —4 года, а онъ ужь блистательную карьеру сдѣлалъ, а тебѣ, душечка, уже 7 лѣтъ, и ты еще умноженія не знаешь...

И бѣдный Петя, если только онъ умный ребенокъ, непремѣнно сгоритъ со стыда, какъ Юлій Цезарь, при взглядѣ на статую Александра Македонскаго...

ПАМЯТИ ХОРОШАГО ЧЕЛОВѢКА.

Я прочиталъ нѣсколько отзывовъ и характеристикъ покойнаго О. Ѳ. Миллера. Настоящаго Миллера, его писательскую, профессорскую и человѣческую сущность мало кто затронулъ, а если и затронулъ, то чуть-чуть, какъ-бы мимоходомъ. Вамъ можетъ это показаться страннымъ, но по моему, никто такъ вѣрно и глубоко не изобразилъ покойнаго, какъ извѣстный художникъ-каррикатуристъ Лебедевъ въ своей виньеткѣ къ книгѣ г. Михневича «Наши знакомые» или виньеткѣ по поводу этой книги—въ точности не припомню. Виньетка эта изображаетъ разношерстную толпу «нашихъ знакомыхъ» изъ міра литературнаго, художественнаго, артистическаго и пр. Разумѣется, все представлено въ болѣе или менѣе каррикатурномъ видѣ, за исключеніемъ, впрочемъ, самого О. Ѳ. Миллера. Покойный поставленъ художникомъ въ правомъ центрѣ,

безъ всякихъ каррикатурныхъ украшеній и аттрибутовъ, поставленъ просто, какъ О. Ѳ. Миллеръ, какъ живой человѣкъ. И вы думаете, фонъ каррикатурной виньетки отъ этого сколько-нибудь пострадалъ? Ни мало. Въ этомъ живомъ человѣкѣ было столько чрезмѣрно искренняго, открытаго, душевнаго, что точный портретъ могъ смѣло сойти за каррикатуру. И я увѣренъ, что тѣ, которые не знали покойнаго въ лицо, больше всего смѣялись надъ этою маленькою подвижною фигуркою, такою вдумчивою, кроткою, отзывчивою до смѣшнаго и любвеобильною до каррикатурности...

Нужно прежде всего понять эту опредѣляющую черту покойнаго. Послѣ смерти О. Ѳ. Миллера повторяется старая исторія: покойника тащатъ и вправо, и влѣво, и каждый литературный лагерь думаетъ, что онъ правъ. Въ дѣйствительности, если угодно, всѣ правы и никто не правъ. О. Ѳ. Миллеръ не принадлежалъ ни къ какому лагерю и не молился никакимъ моднымъ богамъ. Это былъ романтикъ, профессорскій и литературный Алеко, которому очень тяжело жилось среди общественной фальши и который неудержимо рвался на волю, къ цыганамъ, чтобы найти тамъ свою идейную Земфиру. Нашелъ онъ ее или не нашелъ—это вопросъ другой. Мнѣ кажется, что онъ ее не нашелъ, а ходилъ вокругъ да около, все вы-

сматривая ее тѣмъ-же глубоко человѣчнымъ взглядомъ. То, чѣмъ увлекалось большинство въ данный моментъ, всего менѣе могло быть ему по сердцу, не только потому, что оно не удовлетворяло его своею сущностью, но и потому, что проявлялось въ порабощающихъ формахъ. Въ эпоху реалистическаго хамства и литературной свистопляски, онъ стоялъ въ сторонѣ, и его лекціи звучали рѣзкимъ диссонансомъ въ общемъ хорѣ подвывавшихъ литературныхъ и профессорскихъ сателлитовъ. Когда національное чувство всѣми правдами и неправдами вытравлялось изъ молодыхъ сердецъ, онъ одинъ крѣпко стоялъ на своемъ и утверждалъ, что безъ любви къ родинѣ прожить невозможно, и что нельзя народно-историческое содержаніе замѣнить всякою модною и прогрессивною ветошью. Но это не была проповѣдь дутаго націонализма, и тѣ, которые охотно готовы были бы переступить геркулесовы столпы здраваго смысла, напрасно считали его въ своихъ рядахъ. Ему было одинаково душно среди нихъ, и онъ все-бы отдалъ за просторъ цыганскаго кочевья, гдѣ нѣтъ ни лжи, ни условной истины...

* *
*

Я не спорю, это сильно отзывалось Донъ-Кихотомъ. Если хотите, покойный былъ немного Донъ-

Кихотомъ, но это какъ-то шло ко всей его фигурѣ. Въ университетѣ, гдѣ онъ читалъ лекціи, его больше всего цѣнили именно за его неопредѣленную, всеобщую, такъ сказать, любовь. Мнѣ самому приходилось слушать его лекціи, и я знаю, какъ расходились подчасъ его взгляды съ настроеніемъ большинства слушателей. Однако, къ О. Ѳ. относились всегда съ уваженіемъ, внимательно его слушали, и если рѣдко соглашались, то и никогда не возражали въ враждебномъ тонѣ. Я не говорю уже про популярность О. Ѳ. въ средѣ общежитейской. Здѣсь О. Ѳ. былъ просто неоцѣнимъ для всякаго бѣднаго, нуждающагося студента. Къ покойному шли всѣ, кому нужны были совѣтъ, указаніе, помощь, въ той или иной формѣ. И не было случая, чтобы О. Ѳ. кому-нибудь когда-либо отказывалъ. Онъ вѣчно шнырялъ своей характерною походкою по корридорамъ, лѣстницамъ, аудиторіямъ, шинельнымъ, и вездѣ его окружали десятки студентовъ. Однихъ онъ отправлялъ къ ректору, другихъ къ декану, третьихъ къ казначею общества вспоможенія студентамъ, четвертыхъ призывалъ къ себѣ, давалъ имъ адреса лицъ, обращавшихся за репетиторами и учителями, отсылалъ ихъ въ редакціи журналовъ, снабжалъ рекомендаціями. И такъ продолжалось изо дня въ день. Это было вѣчное, всегда наполненное до верху, студенческое бюро, въ которое всѣ

обращались съ такимъ спокойствіемъ, какъ въ свой собственный карманъ. Въ моемъ сознаніи, студенческіе годы и это доброе, искреннее лицо, съ серьезнымъ взглядомъ, сростаются въ какое то неотдѣлимое, неразрывное понятіе... Такъ вотъ мнѣ и кажется, что среди волнъ табачнаго дыма, наполнявшаго буфетную комнату, выростаетъ маленькая фигурка, обладавшая большимъ сердцемъ, и сотни рукъ простираются къ ней съ просьбами самаго разнообразнаго и подчасъ самаго прозаическаго содержанія:

— Орестъ Ѳедоровичъ! Орестъ Ѳедоровичъ!

Теперь уже Ореста Ѳедоровича больше нѣтъ: онъ умеръ. Читалъ вотъ я въ нѣкоторыхъ отзывахъ, будто онъ неправильно соглашалъ западничество съ славянофильствомъ. Очень можетъ быть и даже навѣрное. Но я знаю лицъ, которые соглашали эти ученія такъ, что ужь лучше невозможно. И однако, никто изъ нихъ не вызоветъ и тысячной доли той сердечной скорби, которая нѣтъ-нѣтъ, да и шевельнется у всякаго, кто зналъ этого неправильно соглашавшаго ученія, безконечно добраго и душевнаго человѣка...

„ПИДЖАЧНАЯ“ ИНТЕЛЛИГЕНЦІЯ.

Въ кіевскихъ газетахъ печатался на прошлой недѣлѣ очень интересный процессъ объ утопленіи молодой дѣвушки. Отличились на этотъ разъ двое молодыхъ, очень молодыхъ людей: Дружининъ (главный виновникъ) 19 лѣтъ, и Шредеръ, 21 года. Поѣхали они съ жертвою кататься на лодкѣ, а потомъ, «изъ ревности и злобнаго чувства мести», выражаясь языкомъ обвинительнаго акта, выбросили дѣвушку за бортъ лодки, и налегли на весла. Если вы думаете, что здѣсь дѣйствовала какая-нибудь возвышенная ревность или сколько-нибудь поэтизированное злобное чувство мести, то вы сильно заблуждаетесь. Никакого романа въ духѣ Ромео и Джульеты здѣсь не наблюдалось. Она далеко не была ни Гретхенъ, ни Шарлота, ни Джульета; а онъ совсѣмъ не походилъ ни на Фауста, ни на Вертера, ни на Ромео, потому что она

служила буфетчицею въ какомъ-то заведеніи и собиралась прикрыть грѣхи молодости бракомъ съ буфетчикомъ, а онъ каждый вечеръ устраивалъ «игры межи селъ» и увлекалъ дѣвицъ на популярный среди кіевлянъ Туруханов островъ. Однимъ словомъ, въ общемъ это была довольно прозаическая страница изъ Зола.

И вотъ, безъ романическихъ трепетаній, безъ мукъ ревности, безъ терзаній разбитаго сердца, на томъ самомъ Днѣпрѣ, который такъ чуденъ при тихой погодѣ, когда Господь сотрясаетъ свои ризы, совершается зоологически-грубая и животно-безсмысленная драма. Затѣмъ все входитъ въ свою обычную колею, рѣзвые молодые люди по прежнему устраиваютъ «игры межи селъ» и какъ ни въ чемъ ни бывало, распрашиваютъ у родныхъ, какой «масти» была жертва...

Это почти невѣроятно. Что-же это за общественный классъ, который въ 19—20 лѣтъ поставляетъ совершенно законченныхъ негодяевъ, идущихъ на дикое преступленіе такъ себѣ, отъ полнокровія и изъ мимолетнаго каприза? Можетъ быть, это бѣдные пролетаріи, весь вѣкъ ютившіеся въ трущобахъ, и утратившіе, отъ нищеты и невѣжества, человѣческій образъ? О, далеко нѣтъ! Тогда, быть можетъ, это утонченные представители культурнаго эгоизма, вы-

родившагося, какъ на Западѣ, въ своего рода религію сильныхъ ощущеній? И не это. Это совсѣмъ особый типъ промежуточнаго характера, мало установленный и разработанный въ нашей литературѣ, но прочно утвердившійся въ жизни. Подсудимые Дружининъ и Шредеръ вполнѣ примыкали къ этому классу. Они не считали себя сѣрыми людьми. Совсѣмъ напротивъ. Шредеръ даже постоянно напоминалъ объ этомъ. «Прошу васъ, господа присяжные засѣдатели, имѣть въ виду, что я кончилъ пять классовъ реальной гимназіи, и сталобыть, неглупый человѣкъ». Такъ это текстуально и пропечатано. Подсудимый Дружининъ, тотъ больше отмалчивался, но изъ обвинительнаго акта видно, между прочимъ, насколько онъ считалъ себя выше и интеллигентнѣе той сѣрой среды, къ которой принадлежала утопленная дѣвушка.

И такъ, это культурные люди. Что-же это за культура?

Я помню, лѣтомъ нынѣшняго года тѣ-же кіевскія газеты дали мнѣ интересную тему для размышленія. Именно въ хроникѣ газетъ было напечатано петитомъ такого рода маленькое сообщеніе: «сего числа утонулъ въ Днѣпрѣ неизвѣстный молодой человѣкъ; *судя по оставленной имъ на берегу пиджачной парѣ, утонувшій былъ интеллигентный человѣкъ*». Кое-гдѣ надъ этимъ новымъ характеристическимъ при-

знакомъ интеллигентности, изобрѣтеннымъ кіевскою газетою, зло посмѣялись. Однако, въ сущности, это только было-бы смѣшно, если-бы не было такъ грустно. Между пиджакомъ и культурностью несомнѣнно существуетъ связь. Мало того: пиджакъ поглотилъ интеллигентность и растворилъ ее въ себѣ.

Взгляните на современную толпу, гдѣ угодно, въ театрѣ, на гуляньѣ, на Невскомъ проспектѣ или Большой Морской, и скажите мнѣ откровенно, знаете-ли вы, гдѣ кончается интеллигентность, и гдѣ собственно начинается пиджакъ. Вы видите предъ собою массу людей, одѣтыхъ совершенно одинаково, съ традиціонными палками, въ стилѣ посоха, съ невѣроятно высокими воротничками и съ тщательно выхоленными маленькими бакенбардами. Это—со стороны костюма и внѣшности. Но прислушайтесь къ случайному разговору. О чемъ говорятъ? Опять-таки о совершенно тождественныхъ стереотипныхъ предметахъ, о томъ, что пріѣхала новая опереточная актриса, о томъ, что нынѣшнимъ лѣтомъ стоитъ дурная погода, о томъ, что все не хватаетъ денегъ... да мало ли о чемъ! Всѣ газетныя темы, начиная маргариномъ и кончая Буланже, популярны въ одинаковой мѣрѣ, и преподносятся подъ тѣмъ же соусомъ вычитанныхъ остротъ, каламбуровъ и шуточекъ. Кто же есть «только» пиджакъ? И кто «не только» пиджакъ?

Въ средніе вѣка, когда посвящали въ рыцари, то на спинѣ посвященнаго ломали шпагу. Это была внѣшняя форма пріобщенія къ привилегированному образу существованія, раскрывавшая сразу новыя преспективы жизни. Толстый, неуклюжій мужикъ Санхо-Пансо мгновенно превращался въ губернатора, въ рыцаря, феодала, человѣка высшихъ задачъ и высшей культуры, только потому, что на его всевыносящей спинѣ переломили шпагу, а не палку, какъ это имѣло мѣсто въ другихъ торжественныхъ случаяхъ его жизни.

У насъ пріобщаются къ культурному существованію путемъ пиджака. Разъ на мнѣ болтается пиджакъ, кто смѣетъ мнѣ сказать, что я не культурный человѣкъ? И кто, съ другой стороны, настолько проницателенъ, чтобы разглядѣть подъ пиджакомъ первобытную заскорузлость и неотесанное хамство? «Суди не свыше сапога», сказалъ одинъ художникъ сапожнику, который лѣзъ къ нему съ своими критическими замѣчаніями. Мы до такой степени утратили всякое критическое чутье и пониманіе, до такой степени понизили свои требованія и интеллигентные вкусы, что судимъ не свыше и не шире пиджачной пары. Есть пиджакъ—сдѣлай те милость, съ нами за компанію! Ну, а нѣтъ пиджака—тогда ужь потрудитесь подо-

ждать, пока гг. беллетристы обратятся къ сюжетамъ изъ народнаго быта...

*
* *

Это печально вообще, какъ признакъ интеллигентнаго оскудѣнія. Но это еще печальнѣе съ точки зрѣнія побѣдоноснаго пиджака.

Побѣдоносный пиджакъ вышелъ изъ самой некультурной и невоспитанной среды. Я не скажу, чтобы вчерашняя разночинная поддевка, превратившаяся сегодня въ пиджакъ, не имѣла ничего святаго и завѣтнаго. Напротивъ, у поддевки была своя крѣпкая историческая мораль, своя здоровая элементарная честность, своя первобытная семейная нравственность. У поддевки чувствовалась доброта, чуткость, своеобразная деликатность и чисто народная сострадательная жалость ко всякому забитому, униженному, поруганному. Но все это было отлично приспособлено къ условіямъ существованія, въ которыхъ находилась поддевка, и никуда не годилось для пиджачнаго строя жизни. Пиджакъ сразу вступаетъ въ совершенно новый міръ отношеній, гдѣ существуютъ особыя требованія тона, и гдѣ наружная легкость жизни скрываетъ мучительную и жестокую борьбу культурнаго существованія.

Разумѣется, пиджакъ ничего не въ состояніи

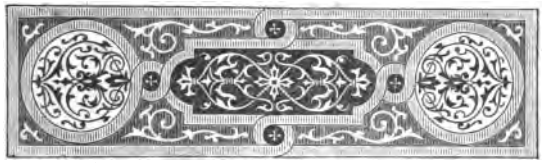
осмыслить. Онъ настолько плохо понимаетъ новыя условія своей жизни, что даже выговариваетъ не пиджакъ, а «спинжакъ», и съ этой «спинжаковой» точки зрѣнія на-скоро усвоиваетъ внѣшнія формы интеллигентнаго существованія. Онъ ѣздитъ по разнымъ Шато-де Флерамъ и Минерашкамъ и думаетъ, совершенно искренно думаетъ, что въ этомъ заключается настоящая миссія культурнаго пиджака. Онъ напивается въ дребезги, пристаетъ къ женщинамъ, говоритъ двусмысленности и гривуазные комплименты продавщицамъ и шансонетнымъ пѣвицамъ, и находитъ, что очень высоко держитъ знамя культурнаго совершенствованія. Въ два-три года онъ послѣдовательно проходитъ всѣ стадіи дебоша и культурнаго разврата, сосетъ набалдашникъ палки, пишетъ векселя и оретъ изъ «Цыганскаго барона»:

Это все—вѣрьте мнѣ —
Испыталъ я вполнѣ;
Для меня, шутника,
Жизнь красна, жизнь легка...

Сдержки, которая дается воспитаніемъ и традиціею, у него нѣтъ никакой. Идеалы поддевки потускнѣли и развалились; идеалы культурные ему недоступны. Остается разнузданный эгоизмъ, который не въ состояніи даже принять форму эгоизма семейной

смоковницы. Утроба—вотъ что наполняетъ все существованіе «спинжака», утроба въ самомъ грубомъ, непосредственномъ, зоологическомъ смыслѣ. И когда утроба пресытилась, отъ простаго, механическаго разврата до какой нибудь дикой, безсмысленной гнусности и подлости остается одинъ только шагъ

И вотъ, эта подлость совершается гдѣ-нибудь, подъ кустомъ душистой сирени, у плакучей ивы, у мирнаго ручейка, посреди зеркальной рѣки, усыпанной звѣздами,—однимъ словомъ, въ самомъ миротворящемъ и жизнерадостномъ мѣстѣ; совершается какъ-то глупо, стихійно, «безъ нужды, безъ борьбы роковой» просто потому, что «спинжаку» что-то «взбрело въ башку», и съ своею собственною башкою ему, при его пиджачной распоясанности, ни за что не справиться. А звѣзды, и душистая сирень, и Blumenkranz, и шиллеровщина, и все то, надъ чѣмъ мы, настоящіе культурные люди, трепетали и плакали отъ восторга, глядятъ съ удивленіемъ на странныя тѣни, которыя бросаетъ современный культурный «спинжакъ»...



ЖЕНСКІЙ ВКУСЪ.

Отголоски процесса Буланже... Не бойтесь, я не стану вдаваться въ высокую политику: это не моя область. Но въ процессѣ есть другая, очень пикантная сторона, остановившая на себѣ мое вниманіе. Это— исторія Буланже-Донъ-Жуана, перечень чуть-ли не ежедневныхъ амуретокъ, интрижекъ, таинственныхъ свиданій, вуалетокъ, маргаритокъ и чортъ знаетъ чего еще. У браваго генерала, который ради высокой политической цѣли съ успѣхомъ осѣдлалъ даже локомотивъ, была, кромѣ плебисцитарной идеи, оказывается, еще одна слабость—женщины. Въ Парижѣ madame Pourpe, его главный адъютантъ, устроила и омеблировала два помѣщенія, куда, послѣ дневныхъ трудовъ, удалялся носитель плебисцитарной идеи и гдѣ проводилъ нѣсколько пріятныхъ часовъ въ удовольствіяхъ, которыя, какъ выразился Кэнэ де Борепэръ, должны считаться минувшими для лицъ извѣст-

наго возраста. Кто были эти женщины? грозно восклицаетъ генеральный прокуроръ, и тутъ-же отвѣчаетъ: «судя по таинственности, густымъ вуалямъ и предосторожностямъ, это были, конечно, замужнія дамы высшаго круга». Буланже въ своей интимной корреспонденціи часто останавливается на таинственныхъ дамахъ съ густыми вуалями. «Chère petite!» восклицаетъ онъ въ шифрованной депешѣ къ Полю Деруледу, на которую послѣдній, однако, ничего не отвѣтилъ. Такъ «chère petite» и «pauvre petite» остались таинственными, благоухающими, загадочными, неуловимыми... Жаль. А впрочемъ,

Не говори съ тоской: ихъ нѣтъ,
Но съ благодарностію: были...

Я нѣсколько разъ перечиталъ то мѣсто реквизиторіи, гдѣ разсказываются водевильныя подробности амурныхъ похожденій генерала Буланже. Бѣдныя «chères petites»! Въ этомъ клочкѣ полу-политической, полу-шутовской интермедіи вылилась вся натура женщины, которая всегда и вездѣ останется все тою-же «chère petite», т.-е. чѣмъ-то очень дорогимъ, но въ тоже время чрезвычайно мелкимъ и маленькимъ. Для женщины необходимъ прежде всего эффектъ величины, если можно такъ выразиться. Великій авантюристъ, великій дипломатъ, великій

бальный куаферъ, великій поэтъ, великій акробатъ— все что угодно, но только непремѣнно что-нибудь очень крупное, заставляющее о себѣ говорить и подчиняющее окружающее. Разумѣется, здѣсь многое объясняется тщеславіемъ, хотя далеко не все. На любовной буланжіадѣ, напримѣръ, это можно прослѣдить какъ нельзя лучше. Женщины, закутавшись вуалями, почти незнакомыя, являются на квартиру Буланже, являются съ тѣмъ, чтобы исчезнуть по истеченіи двухъ-трехъ часовъ, не оставивъ никакого слѣда, кромѣ легкаго и чуть-чуть раздражающаго аромата. На слѣдующій день она не придетъ, и черезъ два дня не придетъ, и черезъ недѣлю, и черезъ мѣсяцъ—тоже. Можетъ быть, она и совсѣмъ не увидитъ никогда «le brave géneral» а если и увидитъ, то очень вѣроятно, что le brave général скользнетъ по ней равнодушнымъ взглядомъ, да такъ ее и не узнаетъ. Какое-же здѣсь можетъ быть основаніе для тщеславнаго чувства? Одно дѣло быть женщиною à la mode, и совершенно другое—таинственныя, никому не вѣдомыя и закрытыя для всѣхъ свиданія въ меблированномъ помѣщеніи мадамъ Пурпъ. Притомъ, она не смѣетъ никому проговориться, даже ближайшей своей пріятельницѣ. У нея вѣдь—репутація. «О, это святая!» говорится объ ней въ свѣтѣ. И вдругъ, она станетъ болтать...

Очевидно, закутанныхъ вуалями «chères petites», являвшихся поочередно на свиданія, влекло не тщеславное чувство. Другія совершенства Буланже также едва-ли въ состояніи объяснить ежедневный притокъ «chères petites» къ дверямъ меблированнаго уголка г-жи Пурпъ. Когда человѣкъ родился въ 1836 г., то онъ, можетъ быть, человѣкъ отмѣнныхъ душевныхъ качествъ и чрезвычайно блестящаго ума, но ему все-таки 53 года, и что-бы ни говорили Лагерръ, Лэзанъ и Рошфоръ о его великомъ будущемъ, это не дастъ ему ни свѣжаго цвѣта лица, ни блестящаго, юношескаго взгляда, ни гибкой, энергической походки.

Однимъ словомъ, секретъ не въ этомъ. За то эффектъ величины присутствуетъ здѣсь въ полной мѣрѣ. За Буланже дѣйствительно чувствуется сила. Настоящая или вымышленная, сила личности или сила идеи—это вопросъ другой, котораго я касаться не буду. Но несомнѣнно, что въ теченіи послѣднихъ 10 лѣтъ ни объ одномъ человѣкѣ такъ много не говорили, и ни одинъ человѣкъ не возбуждалъ такого страстнаго тона; какъ le brave général. Помилуйте! объ одной рукѣ его сколько было толковъ: цѣлый трактатъ по хиромантіи еще недавно газеты печатали. Несомнѣнно, дѣло идетъ о крупной исторической фигурѣ. И всѣ pauvres и chères petites, всѣ эти безконечно ма-

ленькія, ничтожныя, мелкія женскія натуры безъ удержу стремились на встрѣчу любимцу хиромантіи и гг. репортеровъ.

* *
*

Я знаю, найдутся защитники женщинъ, которые въ этомъ безсознательномъ тяготѣніи pauvres petites къ эффекту величины, какъ я выразился, будутъ видѣть проявленіе высокихъ свойствъ женской души. А! тѣмъ лучше! скажутъ они,—значитъ, въ натурѣ женщины заложено инстинктивное влеченіе къ крупнымъ идеямъ и личностямъ, значитъ, женщина не въ состояніи мириться съ повседневною пошлостью и будничною мелкотою. Однако, это не совсѣмъ такъ. То, что̀ заставляетъ женщину бросаться на встрѣчу эффекту величины, объясняется не сознаніемъ своего женскаго достоинства, не инстинктивнымъ стремленіемъ къ тѣмъ формамъ и тому идейному содержанію мужской энергіи, которыя на ея взглядъ, достойны женскаго благословенія и поддержки любящей души. Въ основаніи этихъ стремленій лежитъ, совсѣмъ наоборотъ, именно полное безсиліе и ничтожество женской натуры, только тогда чувствующей себя вполнѣ удовлетворенною, когда ея сознаніе оглушено и мысль притуплена. Ее, безцвѣтную, ординарную, ни добрую, ни злую, ни шаткую, ни валкую, однимъ словомъ, ее, эту chère

petite, просто поражаетъ все, что имѣетъ какой-либо яркій индивидуальный оттѣнокъ, какую-нибудь печать характера и своеобразія. Вы помните чудесную страницу изъ романа Гюго «Человѣкъ, который смѣется»? Герцогиня Жозіана, великолѣпная женщина, обладающая красотою, богатствомъ, знатностью, т. е. всѣмъ, что доступно женщинѣ, безумно влюбляется въ безобразнаго Гуинплэна, клоуна кочующаго цирка. Пусть это будетъ послѣдняя степень уродства, вызывающая невольное отвращеніе—ничего, лишь-бы это былъ настоящій паяцъ, поставленный въ самомъ низу общественной лѣстницы. Онъ вызываетъ своимъ кривляньемъ бѣшеный хохотъ толпы; значитъ, онъ—сила и этого достаточно для того, чтобы герцогиня Жозіана трепетала отъ восторга и задыхалась отъ страсти.

Гуинплэнъ, или Буланже, или краснорожій болванъ, поднимающій гири, или глупый, какъ баранъ, итальянскій теноръ, или золотушный поэтъ, о которомъ кричатъ газеты, все равно, лишь-бы только въ наличности былъ эффектъ величины. Припомните, что дѣлалось года два-три назадъ съ покойнымъ Надсономъ. Развѣ это не типичный образчикъ психопатическаго стремленія женщины къ эффекту величины? Элеоноры Обмокни, какъ ихъ остроумно назвалъ г. Буренинъ, это тѣ-же Жозіаны, но только «съ другой сто-

роны». Пустота, безсодержательность и бѣдность внутренняго содержанія совершенно одинаковы въ обоихъ случаяхъ; каждая изъ нихъ, и Элеонора Обмокни, и герцогиня Жозіана, стараются укрыть собственное ничтожество подъ сѣнью дѣйствительной или кажущейся силы. Необходимъ шумъ, трескъ, громъ... Одной нуженъ классическій уродъ, другой—слезные стихи, третьей—высокая политика, но всѣмъ одинаково необходимъ эффектъ, внѣ котораго ограниченное чувство ничего не признаетъ и не понимаетъ. Это своего рода фетишизмъ. Фетишъ поклоняется не символу, не идеѣ, какъ болѣе культурный язычникъ, а просто факту. Если фетиша поразила гора, онъ станетъ приносить жертвы и курить ѳиміамъ горѣ, но не горѣ-Олимпу, а просто большой природной насыпи; если фетиша поразитъ дубъ, онъ окружитъ дубъ благоговѣйнымъ культомъ, но не потому, что въ дубѣ живутъ души его предковъ, а потому, что дубъ очень массивенъ и усѣянъ жолудями. Женщина—тотъ же фетишъ. Она готова поклоняться, приносить жертвы, курить ѳиміамъ всякому, кто умертвитъ въ ней сознаніе собственной личности. Тѣмъ лучше для нея, если это сдѣлалъ политическій дѣятель. Но этого же результата достигъ дудочникъ Вальмажуръ изъ «Нумы Руместана» Додэ, когда наигрывалъ въ салонахъ провансальскія мелодіи, и еще скорѣе достигъ бы этого разбитной там-

буръ-мажоръ, если бы тамбуръ-мажорамъ и турецкимъ барабанамъ былъ открытъ доступъ въ салоны, наравнѣ съ поэтами, бравыми генералами и итальянскими тенорами...

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ „БАБЕЦЪ".

Я хочу вамъ разсказать... Серьезно, я хочу вамъ разсказать очень, очень забавную литературную исторію. Мнѣ давно уже объ ней хотѣлось побесѣдовать съ читателями, да вотъ не помню, «все чѣмъ-то былъ отвлеченъ», какъ говаривалъ городничій. Исторія заключается въ слѣдующемъ. Есть писатель г. Дѣдловъ,—повидимому, псевдонимъ,—въ послѣднее время пустившійся въ беллетристику. Между прочимъ, въ разсказѣ, начатомъ въ послѣднемъ номерѣ «Вѣст. Европы» и озаглавленномъ «На лонѣ природы», г. Дѣдловъ выводитъ художника Помятова и литературнаго критика Мартова, двухъ друзей-пріятелей, отправляющихся хлопотать «по собственнымъ дѣламъ» на лоно природы. Весь разсказъ ведется въ такомъ родѣ, что вотъ, молъ, пріятели ѣдутъ и между собою разговариваютъ, а въ тоже время строчки ростутъ и

вздваиваютъ ряды, какъ солдаты по командѣ, и это само собою чрезвычайно выгодно отзывается на гонорарѣ автора. Такъ вотъ на эти самые разговоры, которые два пріятеля вечернею порой вели между собой, и обрушилась критика, найдя ихъ неприличными, моветонными, пошлыми, возмутительными и Богъ знаетъ еще какими. А говорятъ гг. Мартовъ и Помятовъ немного объ искусствѣ, но большею частью о томъ, чѣмъ слѣдуетъ опохмѣляться и что̀ есть любовь, какъ феноменъ обыденной жизни. Въ концѣ концовъ, одинъ изъ нихъ обращается къ пароходному слугѣ съ слѣдующимъ вопросомъ:

— А что, братецъ, скажи, у васъ тутъ на пароходѣ подходящій «бабецъ» есть?

На что слѣдуетъ полу-утвердительный отвѣтъ. И вотъ тутъ-то начинаются громы критики.

Я не помню случая, чтобы литературные критики обнаружили столько единодушія. «Бабецъ» былъ растерзанъ на части, растерзанъ съ двухъ сторонъ и двухъ точекъ зрѣнія. Во-первыхъ, «бабецъ» возмутителенъ самъ по себѣ, и во-вторыхъ, «бабецъ» возмутителенъ въ превосходной степени, если насчетъ «бабца» прохаживаются критикъ Мартовъ и художникъ Помятовъ. «Бабецъ» есть достояніе низшихъ натуръ. Высшія-же натуры, къ которымъ принадлежатъ литературные критики, вполнѣ беззаботны на-

счетъ «бабцовъ», и потому художественный штрихъ г. Дѣдлова—наглая ложь и клевета.

Ахъ, какая это знакомая пѣсня! Одно время мнѣ казалось, что это суконное лицемѣріе, унаслѣдованное отъ той эпохи, когда на искусство смотрѣли съ точки зрѣнія полезности, притихло и по немногу стало уступать мѣсто единственному нормальному критерію художественности—инстинкту жизнерадостности. Но оказывается, что въ насъ еще очень глубоко сидитъ тупая и узкая семинарская мораль, для которой идеалъ красоты есть стриженая курсистка въ плэдѣ г. Ярошенко, а не сверкающая лучезарною обнаженностью Фрина. Мало того. Я думалъ, что наша публика настолько созрѣла и настолько выросла за послѣдніе годы, что ее нельзя безнаказанно водить за носъ и убѣждать въ томъ, что тѣ, которые пишутъ, сдѣланы совсѣмъ изъ другой человѣческой глины, чѣмъ тѣ, которые читаютъ, и что для нихъ не существуетъ ни долины вздоховъ, ни «Пѣсни пѣсней», ни золотыхъ дней Аранхуэца. И однако, въ этомъ я ошибся точно также Наша публика все еще, очевидно, чрезвычайно наивна потому что въ противномъ случаѣ литературная критика, терзая «бабца», прибѣгла-бы къ другимъ, болѣе убѣдительнымъ и менѣе ребяческимъ пріемамъ.

Ну, скажите, въ самомъ дѣлѣ, что это такое? «Бабецъ» есть ложь, потому что о немъ спрашиваетъ

не пьяненькій купчикъ, а господинъ Мартовъ, литературный критикъ. Что̀-же долженъ дѣлать г. Мартовъ? Г. Мартовъ, изволите видѣть, долженъ стоять на берегу пустынныхъ волнъ, глубокихъ думъ полнъ. Прекрасно. Но вѣдь это сказано о мѣдномъ всадникѣ, и для человѣка изъ мѣди стоянье на стражѣ идей отъ зари до зари—совершенно естественно и не сопряжено ни съ какими затрудненіями. Но если человѣкъ сотворенъ изъ плоти и нервовъ—я думаю, ему немыслимо навязать серьезную непоколебимость и гранитную выдержанность монумента. Человѣкъ есть человѣкъ, и никакое знаніе литературы не можетъ упразднить мечты о долинѣ вздоховъ. Вы скажете, что «бабецъ»—черезъ чуръ пылкая форма мечтаній о долинѣ вздоховъ. Согласенъ и съ этимъ. Но вѣдь это уже вопросъ темперамента, а вовсе не рода занятій.

* * *

Но оставимъ это. «Бабецъ» поучителенъ гораздо болѣе не въ сферѣ домашнихъ счетовъ критиковъ и беллетристовъ между собою, а въ сферѣ общаго направленія нашей литературы. «Бабецъ» у насъ изгнанъ окончательно, изгнанъ до такой степени, что когда читаешь текущую беллетристику, то никакъ не можешь понять, какимъ это образомъ въ такомъ удивительно серьезномъ обществѣ существуетъ и нѣмецкій клубъ,

и прикащичій, и разные секретные пріюты, и ежедневныя романическія драмы, трагедіи и самоубійства. Откуда все это? Помилуйте! Все «Муся», да «Миражи», да Глѣбы Успенскіе, и все это такъ идейно, серьезно и возвышенно...

И что всего страннѣе, такъ это то, что мы съ величайшимъ наслажденіемъ смакуемъ сюжетъ «бабца» въ произведеніяхъ французской литературы. О Золя мы еще говоримъ, полуконфузясь, но насчетъ, напримѣръ, Гюи де-Мопассана не существуетъ вовсе двухъ противоположныхъ мнѣній. Гюи де-Мопассанъ—признанный любимецъ, тотъ самый Гюи де-Мопассанъ, который сорокъ разъ на одной страницѣ трактуетъ насчетъ «бабца» такимъ образомъ, что г. Дѣдлову остается только кланяться. Такъ вотъ, г. Мопассану не только все прощается, но даже вмѣняется въ особую заслугу, и когда лѣтъ пять назадъ или четыре въ «Вѣст. Европы» переводился его романъ «Bel ami», гдѣ тоже выводились литературные Мартовы и художественные Помятовы, падкіе «на предметъ» «бабца»,—никому и въ голову не приходило упрекать Мопассана въ пошлости, но напротивъ, всѣ говорили: какая жизненность! какая правда!

Я рѣшительно этого не понимаю. Почему Гастонъ или Жанъ можетъ оставаться превосходнымъ Гастономъ или Жаномъ, будучи слабъ на счетъ «бабца», и

почему Иванъ или Григорій не имѣютъ этого права? Одинъ знакомый беллетристъ жаловался мнѣ надняхъ на то, что у него цѣлый романъ пропадаетъ, только потому, что онъ изъ мимолетной маскарадной встрѣчи сдѣлалъ серьезную повѣсть. У насъ это невозможно, потому что явится сейчасъ-же какой нибудь согбенный подъ тяжестью суконной эстетики критикъ и воскликнетъ: «а? бабецъ! взять автора подъ сомнѣніе!» И будьте увѣрены, что возьметъ, ибо г. пещерный критикъ никакъ не можетъ переварить того обстоятельства, что изъ обыкновеннаго «бабца» можетъ развиться настоящее серьезное чувство. По суконной логикѣ это никакъ не выходитъ. Необходимо видите-ли, чтобы предварительно были цѣломудренныя трепетанія, чтобы почва зарождалась, колебалась, устанавливалась, чтобы героиня непремѣнно вела дневникъ и наконецъ, по формѣ и «согласно съ обстоятельствами дѣла», написала: «Я люблю его! О, Боже! Это ясно для меня. Что дѣлать?» Тогда беллетристу можно поставить пять съ плюсомъ, если не за тонкую психологію, то за «согласіе съ обстоятельствами дѣла» и за хорошее поведеніе. Ну, а вотъ «Сафо» Додэ—это дѣло другаго рода, и анализъ маскарадной встрѣчи Фанни Легранъ съ Жаномъ Госсеномъ совсѣмъ не рекомендуетъ Додэ съ дурной стороны. Даже папскій нунцій, говорятъ, далъ благословеніе. По-

тому, понимаете-ли, Парижъ. Ахъ, Парижъ, край родной...

*
* *

И вотъ подъ вліяніемъ суконной серьезности гг. Мартовыхъ, портятся не только беллетристы, малюющіе какую-то фантастическую институтскую дребедень, вмѣсто настоящей жизни, но и художники Помятовы. Поглядите, что они намалевали на передвижной выставкѣ! «Бабца» нѣтъ—онъ изгнанъ окончательно. Ахъ, какъ можно! Вѣдь это тривіально! Вѣдь это французы голыхъ женщинъ рисуютъ и хвастаютъ отсутствіемъ тенденціи! А у насъ нужно, чтобы все это было необыкновенно серьезно, сильно и умно, и чтобы въ каждомъ мазкѣ сквозила тенденція...

И вотъ обратите вниманіе. Вамъ даютъ двѣсти картинъ и картинокъ, рисующихъ жизнь и являющихся ея художественнымъ воспроизведеніемъ. Кажется, вы въ правѣ требовать, чтобы $^1/_{200}$ выставки представляла жизнерадостный уголокъ любви, а другая $^1/_{200}$ рисовала, ну, хотя бы скажемъ, красивую женщину. Неужели мы такъ заняты серьезными идеями и чрезвычайно умными дѣлами, что физическая красота перестала для насъ имѣть какое-бы то ни было значеніе? Конечно, «Раздѣлъ наслѣдства», «Сироты», «Чтеніе письма съ родины»—все это бываетъ, и даже

очень часто бываетъ. Но вѣдь звучитъ же, по прежнему, «пѣснь торжествующей любви?» Солдатъ-то, который на качеляхъ любезничаетъ съ кухаркою, не монополистъ-же, и не единственный, взысканный фортуною, счастливецъ?

Грѣшнымъ дѣломъ, я полагаю, что нѣтъ красоты выше красотъ скульптурныхъ очертаній, и нѣтъ тенденціи выше той, которая отрицаетъ всякую тенденцію. Говорятъ, Жмурко эротиченъ, а ужъ онъ-ли не освободилъ себя отъ всякой тенденціи? Но здѣсь, очевидно, кроется недоразумѣніе. Въ картинахъ Жмурко больше, чѣмъ гдѣ-бы то ни было, сказывается тенденція, именно тенденція эротизма. Точно также у г. Сухоровскаго. И можетъ быть, лучше было-бы, если-бы они не давали разнообразныхъ названій, а писали-бы вездѣ: «голая женщина», «голая женщина», «голая женщина». Въ дѣйствительности они не даютъ вамъ полнаго комплекта, если можно такъ выразиться, физической красоты, а непремѣнно чего-нибудь не договариваютъ. И этотъ разсчетъ совершенно вѣрный. Въ своемъ родѣ, это производитъ такое же впечатлѣніе, какъ извѣстная шансонетка «voyez par ci, voyez par là», которая, въ концѣ концовъ тѣмъ пикантнѣе, чѣмъ, въ извѣстныхъ предѣлахъ, скромнѣе. Но попробуйте отнестись къ этому вопросу трезво, натуралистически, во весь ростъ, что-ли, и вы тот-

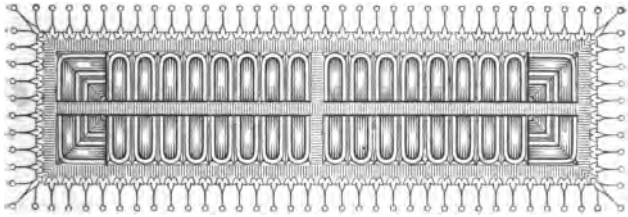
часъ-же замѣтите, какъ отъ перваго прикосновенія широкой кисти испарятся всѣ вѣянья эротизма.

Я не говорю уже о классикахъ. Только отъявленный пошлякъ можетъ видѣть что-нибудь эротическое въ Венерѣ Милосской или Медицейской. Для всякаго нормальнаго человѣка, не зараженнаго кстати семинарскою идейностью, Венера Милосская есть воплощеніе чистаго и высокаго идеала красоты, той красоты, которая, какъ выражается одно изъ дѣйствующихъ лицъ Тургенева, «несомнѣннѣе принциповъ 89 года». Но даже у современныхъ или близкихъ къ нимъ художниковъ, такъ называемый эротизмъ есть только продуктъ празднаго и разгоряченнаго воображенія зрителя. Возьмите, напримѣръ, покойнаго Ганса Маккарта. Года два или три назадъ у Кумберга была выставлена его картина «Вакханка», и нѣкоторые пуристы очень волновались на томъ де основаніи, что это черезъ чуръ откровенно. Однако, гдѣ же здѣсь эротизмъ? Сатиръ, это—чистое отвлеченіе, маленькіе амурчики — такое же миѳологическое отвлеченіе, наконецъ, вся эта обстановка изъ виноградныхъ гроздій, мшистаго ковра внизу и горячаго голубаго неба сверху, настолько легендарна и абстрактна для насъ, что эротическое сочетаніе можетъ возникнуть только при большихъ усиліяхъ нашей воли и фантазіи.

Наконецъ, развѣ въ этомъ дѣло? развѣ я требую,

чтобы всѣ Помятовы только то и дѣлали, что рисовали вакханокъ, нимфъ, горныхъ фей и прочія аллегорическія обнаженности? Я взялъ только очень характерный примѣръ, показывающій, какъ глубоко въѣлась въ нашихъ передовыхъ художниковъ семинарская фальшь. Если я скажу себѣ, что дальше локтя рисовать женскую руку—зазорно, что красота физическаго совершенства должна только подразумѣваться, а не чувствоваться,—неужто я буду относиться къ искусству съ артистическою откровенностью и полнотою художественнаго сознанія? неужто здѣсь не будетъ тенденціозной преднамѣренности и фальшивой придуманности?

Быть жизнерадостнымъ — значитъ чувствовать каждою фиброю своего существа радости жизни. Ихъ нельзя чувствовать только до локтя, а послѣ локтя не чувствовать. Это вздоръ, подъ которымъ скрывается либо аскетическая отрѣшенность, либо лицемѣріе умѣренности и аккуратности. Но и то, и другое одинаково чуждо искусству.



ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Я всегда охотно читаю газетныя объявленія. Въ своемъ родѣ, это—изнанка столичной жизни. Текстъ—лицевая сторона, лоснящаяся отъ глянца и довольства сытаго существованія. Все это весьма великолѣпно, чрезвычайно богато, пестро, узорчато. Nous aimons, dansons et buvons sec... «Принцесса Коломбина» сошла не совсѣмъ великолѣпно, ибо у г-жи Кестлеръ существуетъ довольно странное обыкновеніе говорить такъ, какъ будто она проходила роль подъ руководствомъ гоголевскаго врача, Христіана Иваныча Гибнера. За то г-жа Дюроше въ Маломъ театрѣ отлично справилась съ ролью и нисколько не постарѣла. Кромѣ того, рысакъ «Вьюнъ» легко пришелъ первымъ, а Иванъ Кирилычъ по прежнему играетъ на скрипкѣ и приводитъ въ восторгъ слушателей.

Повторяю: текстъ—это праздникъ жизни, какое-

то невообразимое сцѣпленіе пѣснопѣній, Планкетовъ, рысачниковъ, безпокойно ласковыхъ взглядовъ и поддѣльно румяныхъ ланитъ. Послѣ чтенія остается какое-то легкое облако зефира, пропитанное чуть-чуть раздражающимъ ароматомъ батистоваго существованія, если мнѣ позволено прибѣгнуть къ такому рискованному дамскому опредѣленію. Это именно батистъ, легкій, воздушный, мягкій, шуршащій съ таинственнымъ трепетомъ. Живутъ люди близь города Славянска, и живутъ вполнѣ безпечально. Даже кражи какія-то веселыя, батистовыя. Пришла компанія въ Мало-Ярославецъ, поужинала съ превеликимъ аппетитомъ, хлопнула по нѣсколько стакановъ «добра црна вина» и украла такъ, между прочимъ, отъ полноты веселія, все столовое серебро. Однимъ словомъ, батистъ, и только.

И вотъ, затѣмъ вы переходите къ объявленіямъ. Васъ сразу охватываетъ какой-то сырой запахъ подвала и горемычной нужды. Я не про крупныя объявленія говорю, которыя возвѣщаютъ о дюшесахъ и «чрезвычайномъ урожаѣ фруктъ» или о дешевой распродажѣ у madame Аронъ шелковыхъ matinées, по 10 руб. штука, — а о мелкихъ, маленькихъ, тѣхъ, что скучены въ невообразимой тѣснотѣ и лѣзутъ съ азартомъ другъ на друга, точно локтями отстаиваютъ каждую пядь существованія. Все это жадно проситъ

хлѣба, угла, какого-нибудь уюта и призора. Сколько драмъ въ этихъ маленькихъ, чуть-чуть примѣтныхъ строчкахъ! Какой безконечный калейдоскопъ житейскаго трагизма, пришибленной вѣры, надорваннаго существованія, обозленнаго самолюбія! И какая вереница погибшихъ мечтаній!..

* *
*

На одномъ объявленіи я остановился съ особеннымъ вниманіемъ. Это, собственно говоря, не маленькое объявленіе, а крупное, но говоритъ оно не о Планкетахъ и дюшесахъ, а о томъ же, о чемъ толкуютъ маленькія. Объявленіе исходитъ отъ центральнаго статистическаго комитета при министерствѣ внутреннихъ дѣлъ и гласитъ оно о томъ, что пріемъ заявленій отъ лицъ, желающихъ заниматься въ комитетѣ безусловно прекращенъ, такъ какъ, въ теченіи двухъ дней, 2 и 3 октября, такихъ заявленій уже поступило болѣе 300 и комитетъ обезпеченъ рабочими силами болѣе чѣмъ на два года.

Такъ вотъ подумайте надъ этимъ объявленіемъ. Въ два дня является 300 кандидатовъ на занятія. Вы знаете, что̀ это за занятія? Это сводка матеріала, нѣчто до такой степени безжизненное, сухое и отупляющее, что въ сравненіи съ этимъ переписка или корректура является почти артистическимъ трудомъ.

Нужно либо писать колонны цифръ, отъ которыхъ слѣпнутъ глаза, либо нанизывать статистическіе листки и подсчитывать, подсчитывать безъ конца. Иногда, и даже чаще всего, работа берется на домъ, и тамъ повторяется тоже. И за этотъ, буквально каторжный трудъ, можно заработать отъ 15 до 40 руб. въ мѣсяцъ.

Легко понять, какое напряженіе въ погонѣ за кускомъ хлѣба должно существовать въ толпѣ интеллигентнаго пролетаріата, если на коротенькій и отрывистый зовъ газетнаго объявленія, въ теченіи двухъ дней, поступаютъ сотни заявленій. Очевидно, здѣсь не разбираются ни способности, ни влеченія, ни вкусы, ни потребности. Одинъ намекъ на то, что гдѣ-то можно заработать лишній грошъ, и толпа голодныхъ людей лѣзетъ приступомъ на обѣтованный уголъ. Какъ ни быть, но только жить: впроголодь, съ сутулиной на спинѣ, съ потухшими глазами, съ преждевременною сѣдиною, съ забитымъ самолюбіемъ, съ растерянными идеалами—все равно, лишь-бы мерцалъ инстинктъ жизни и имѣлась обглоданная корка хлѣба.

И это счастливцы, счетомъ—300. Триста избранниковъ, обезсиленныхъ нелѣпою педагогіею, грошовою корректурою, которая появляется, какъ метеоръ, и такъ-же быстро исчезаетъ, вольнопрактикующею бухгалтеріею, за которую не заплочено денегъ, переводами, которыхъ нигдѣ не печатали, — считаютъ себя въ те-

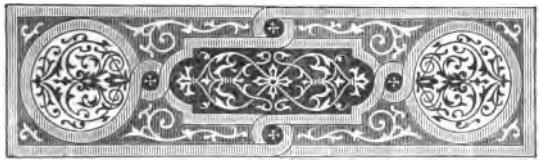
ченіи 2 лѣтъ счастливыми только потому, что за 25 рублей въ мѣсяцъ имѣютъ полную возможность слѣпить глаза и надрывать умъ и сердце въ подсчитываніи какихъ-то невѣроятныхъ квадратныхъ душъ и кубическихъ недоимокъ. Эти уже имѣютъ «соціальное положеніе». А внизу 3000 отверженныхъ, запоздавшихъ, проглядѣвшихъ, у которыхъ разбѣгаются глаза. Имъ еще долго придется мыкаться по отсырѣвшимъ комнатамъ, питаться булкою съ чаемъ, а изрѣдка и совсѣмъ не питаться. Кто знаетъ, сколько времени испытаній предстоитъ имъ впереди? Можетъ быть, годъ, можетъ быть, два, а можетъ быть, и всю жизнь. Есть такія фатальныя существованія, которыя никогда не выходятъ изъ порыжѣвшихъ сапоговъ и забитаго, голоднаго трепета...

* * *

И вдругъ, купецъ Соловьевъ пишетъ про дюшесы, а рецензентъ воспѣваетъ обольстительную сценическую наружность г-жи Иксъ. И всего-то разстоянія между этими двумя крайними полюсами столичнаго существованія—два вершка, не больше... На одной страницѣ туманъ обольщеній, блескъ позолоты, «Мокрые амуры» и «Принцессы Коломбины», на другой—большая нужда и маленькія, маленькія строчки...

Ахъ, господа! Читайте объявленія до Коломбинъ

и дюшесъ! Начинайте газету съ права на лѣво, по еврейски. Я совѣтую вамъ это въ вашихъ-же собственныхъ интересахъ; вы увидите, что и ваше кофе, и вашъ чай, и вашъ завтракъ, и даже сама принцесса Коломбина покажутся вамъ въ тысячу разъ обольстительнѣе и вкуснѣе, послѣ того, какъ вы хорошенько пороетесь въ тѣхъ углахъ столичной бѣдноты, которая изъ всѣхъ родовъ литературы предпочитаетъ литературу объявленій.



НАЦІОНАЛЬНАЯ ДРАМА.

«Гроза» провалилась въ Парижѣ съ большимъ трескомъ. Это несомнѣнный фактъ, хотя Францискъ Сарсэ и старается смягчить его. Но корифей французской театральной критики можетъ говорить только отъ своего собственнаго лица. Онъ не представляетъ собою сознанія массы парижской публики, въ глазахъ которой репутація «Грозы» утрачена на всегда.

Можно-ли назвать провалъ «Грозы» неожиданностью? Едва-ли. Протестъ французскаго бульвардье (а какой парижанинъ въ глубинѣ души—не бульвардье?) противъ строгой и серьезной драмы Островскаго совершенно естественный продуктъ необходимости. Трудно было сдѣлать болѣе неудачный выборъ, съ точки зрѣнія успѣха пьесы. «Гроза», это—такая бытовая вещь, такая чисто-народная драма, такой больной кусокъ нашей дѣйствительности, что постичь ее можно только собственнымъ изстрадавшимся сердцемъ. При

томъ, для насъ она имѣетъ, помимо литературнаго, главнымъ образомъ, общественно-историческій интересъ. «Темное царство», «лучъ свѣта», идеи нравственнаго возрожденія и общественнаго обновленія,— все это въ свое время связывалось съ драмою Островскаго. Эта сторона поглощала въ значительной степени интересъ психологическаго анализа. Въ Парижѣ «Гроза» предстала только какъ драма, только какъ литературное произведеніе, безъ всякой исторической или критической рекомендаціи. Что̀ могла понять въ этой довольно неуклюжей пьесѣ, проникнутой меланхоліею и мистицизмомъ хрустальной славянской души, парижская публика первыхъ представленій?

Припомните, въ самомъ дѣлѣ, что̀ такое представляетъ собою обычный французскій репертуаръ, на которомъ воспитывается французская публика. Объ немъ можно себѣ составить нѣкоторое понятіе, не побывавъ даже въ Парижѣ, а слѣдя хотя бы за репертуаромъ нашего Михайловскаго театра. Съ одной стороны, это фарсъ, фарсъ самый поверхностный, самый невѣроятный и до нельзя искусственный, весь построенный на комическихъ недоразумѣніяхъ польдекоковскаго пошиба. Была себѣ дѣвушка, очень миловидная дѣвушка, носила она всегда трое юбокъ, и жила на пятомъ этажѣ. Пьеса такъ и называется— «Au cinquième». И что-же вы думаете? Когда Жанъ

и Поль стали ей декларацію дѣлать, то вдругъ оказалось... ха-ха-ха... оказалось... ха-ха—ай, не выдержу!—оказалось, что дѣвица-то, представьте, не дѣвица вовсе, а мальчикъ, и называется она совсѣмъ не Лизета—какая уже здѣсь Лизета?—а называется она Севастіанъ-Жеромъ-Эрнестъ. Вотъ потѣха! А то бываетъ еще такъ, что выходитъ на сцену молодой человѣкъ, какъ будто совсѣмъ въ аккуратѣ и въ своемъ видѣ. Но стоитъ ему повернуться спиною, и видите вы, что у него панталончики-то... тово... разорваны. Ну, натурально:

Votre habit est craqué dans le dos...
Dans le dos!

Таковы, въ сущности говоря, всѣ эти «Femmes collantes», «Femmes nerveuses», «Jojo», «Durand-Durand» и прочая дребедень, надъ которою можно иногда похохотать до слезъ, но въ которой нѣтъ и тѣни серьезной комедіи. Потому что, въ самомъ дѣлѣ, какое отношеніе имѣютъ разорванныя панталоны къ искусству?

Если вы сдѣлаете крутой переходъ и вдумаетесь въ свойства французской драмы, то опять-таки убѣдитесь, до какой степени все это чуждо врожденному въ русскомъ человѣкѣ натуралистическому взгляду на искусство. Пестрота основнаго фона, приподнятость чувства, разражающагося трехаршинными монологами

въ академическомъ вкусѣ, и рядомъ съ этою стилистическою прилизанностью, какой нибудь трескучій эффектъ, въ которомъ нѣтъ ни на волосъ правды, но который въ состояніи оглушить быка, а не то, что современнаго культурнаго рамоли—вотъ что такое французская драма. Это тотъ-же Расинъ, тотъ-же Корнель, но только на другой ладъ, усовершенствованный такими театральными мастерами, какъ Сарду или Ожье. Главное, чтобы были расписаны пестро кулисы, чтобы мантіи были эффектно закинуты на плечо, и чтобы въ шляпѣ непремѣнно торчало страусовое или павлинье перо. Отъ «чувствъ» требуется одно, чтобы они были «прекрасны», настолько прекрасны, насколько это необходимо для ходульной страстности французскаго артиста.

*
* *

Я далекъ отъ того, чтобы упрекать въ этомъ французскую литературу и французскую публику. Каждый народъ и каждая литература имѣютъ свою историческую судьбу. Французы слишкомъ много пожили; они довели себя до той степени нервной изощренности, когда безъ гротесковъ и невѣроятныхъ qui pro quo, они уже не въ состояніи смѣяться, а внѣ оглушительнаго эффекта не въ состояніи чувствовать. Пластическая красота такихъ народныхъ типовъ, какъ Кате-

рина, Кудряшъ, Варвара, органически такъ сказать чужда французу, точно такъ же, какъ какому нибудь Кудряшу окажется непонятною и чуждою острая прелесть прогнившаго бульварнаго шика.

Для парижанина «Гроза», это—простая адюльтерная исторія. И такъ какъ во всемірной литературѣ едва-ли найдется такая сильная вещь по анализу адюльтера во французскомъ смыслѣ, какъ «Madame Bovary» Флобера, то стало быть, Островскій переписалъ Флобера. Подите, объясните французу, какая громадная, непроходимая пропасть лежитъ между Катериною и m-me Bovary. Madame Bovary—это въ полномъ смыслѣ культурный цвѣтокъ. Женщина, которая съ легкимъ сердцемъ обманываетъ своего простоватаго мужа; женщина, у которой всегда въ запасѣ цѣлый арсеналъ маленькихъ хитростей, уловокъ, кокетства, своеволія, каприза; женщина, которая думаетъ о позорѣ, о наказаніи, о скандалѣ, о чемъ угодно, но только не о нравственномъ значеніи своего проступка, въ тѣсномъ смыслѣ этого слова; женщина, набитая до верху сентиментальностью, театральною мишурою, романическою восторженностью, разлагающая свои чувства съ химическою тщательностью, театрально отдающаяся и театрально умирающая. И это наша Катерина! Наша кристаллически-чистая женская душа, съ ея, если можно выразиться, инстинк-

томъ страданія и искупленія за мимолетный грѣхъ! Человѣку западной Европы нужно очень много усилій для того, чтобы понять отрѣшеніе женщины отъ своего «я», отъ своего личнаго эгоизма, отъ собственныхъ страстей и желаній, и постичь самоотверженіе въ наиболѣе высокомъ и чистомъ его видѣ—покаяніи. Онъ любитъ или она любитъ—это почти одно и тоже. И въ немъ, и въ ней, хотя въ ней въ гораздо большей степени, безпрестанно сказывается инстинктъ собственника, который дрожитъ надъ каждою минутою наслажденія, дрожитъ до полупотери сознанія, до готовности выцарапать глаза всякому, кто покусится на маленькую ренту счастья, которую удалось выхлопотать у судьбы. Bien-aimé, несмотря на исключительность своего положенія, такъ-же, если только не больше, не гарантированъ отъ возмездія, какъ и всякія постороннія или третьи лица, и если bien-aimé по собственной волѣ и вполнѣ сознательно прекращаетъ теченіе процентовъ, — рантьерша съумѣетъ отстоять себя и свои права.

Театральный критикъ газеты «Intransigeant» не безъ ядовитости замѣтилъ, что основою русской жизни, повидимому, являются два понятія: Le Samovar et le Repentir. Я живо представляю себѣ впечатлѣніе западнаго зрителя. Въ западной литературѣ почти нигдѣ не звучитъ обычная тема нашихъ писателей:

примиреніе съ собственною совѣстью. И тамошняя публика въ такомъ Repentir можетъ искать только того, что̀ привлекло ее къ Samovar—удовлетворенія празднаго любопытства. Понять это Repentir, дорости или если угодно, опуститься до очищающаго значенія грозы—ей буквально не подъ силу. Гроза! Что̀ такое гроза для современнаго культурнаго человѣка? Пустяки! Отъ грозы существуютъ громоотводы, и никакими доводами вы не въ состояніи будете убѣдить пожившаго и извѣрившагося скептика, что для мистически-настроенной, трепетной молодой души гроза есть символъ искупленія.

Понятно, Дюма поступилъ-бы иначе, чѣмъ Островскій. У него-бы получилась къ пятому акту такая преподлая мораль, послѣ которой только и остается одинъ выходъ «tuez-là». И эту мораль культурной озвѣрѣлости и культурнаго эгоизма, мораль лицемѣрія и безсердечія, укрывающаго одинъ позоръ другимъ, смывающаго оскорбленіе чести поруганіемъ завѣта общечеловѣческой любви, эту мораль револьвера, яда и кинжала—прекрасно бы поняла французская публика. И понявъ, устроила-бы тріумфъ великому учителю-драматургу...

Что прикажете дѣлать? Намъ еще надо подрости и подучиться...

ЧЕМУ УЧИТЬ?

Въ литературныхъ и педагогическихъ кругахъ Парижа много шума надѣлали толки о реформѣ орѳографіи. Впрочемъ, слово «реформа» употреблено мною не совсѣмъ правильно. Лучше было бы сказать «отмѣна орѳографіи», потому что именно въ отмѣнѣ всякихъ предустановленныхъ правилъ и въ господствѣ однихъ только звукоподражательныхъ, если можно такъ выразиться, пріемовъ, и должна была заключаться реформа. Однимъ словомъ, это совсѣмъ не та реформа, которую въ нашей орѳографіи произвелъ академикъ Гротъ, реформа, устранявшая анархію въ правописаніи, а наоборотъ, реформа, провозглашающая анархію орѳографіи т. е. близость къ звуку единственнымъ правиломъ.

Просматривая доводы за и противъ реформы, я былъ невольно пораженъ однимъ обстоятельствомъ: всѣ

доводы за отмѣну орѳографіи были необыкновенно практичны и логичны, и однако, съ ними очень тяжело согласиться; всѣ доводы противъ реформы, наоборотъ, чрезвычайно туманны, подчасъ даже наивны, и однако, они приходятся какъ-то по душѣ, и согласіе на нихъ давно уже готово, гдѣ-то далеко въ нѣдрахъ нашего сознанія. Съ одной стороны, подумайте, зачѣмъ намъ орѳографія? Зачѣмъ намъ буква «ять», отравлявшая наши младенческіе годы, эта безпокойная, назойливая буква, у которой имѣется тысяча корней, тысяча производныхъ формъ и сотня грамматическихъ формъ. Что̀ теряетъ человѣчество, если «Печенѣгъ» не будетъ писаться черезъ «ять» въ концѣ, и что̀ оно, наоборотъ, выигрываетъ, если буква «ять» останется неприкосновенною въ концѣ слова? Рѣшительно ничего. И однако, для насъ, грамотныхъ и культурныхъ людей, настоящій Печенѣгъ, Печенѣгъ, признанный и принятый въ гостиныхъ, есть Печенѣгъ черезъ «ять», тогда какъ Печенѣгъ черезъ «е», это—просто parvenu, съ которымъ всякій порядочный человѣкъ долженъ обращаться чрезвычайно осторожно.

Одинъ французскій хроникеръ, по поводу спора объ орѳографіи, воскликнулъ: «Какъ! Вы хотите отмѣнить орѳографію, но какъ мы будемъ знать въ такомъ случаѣ, кто писалъ намъ billet doux, герцогиня или горничная?» Подъ видомъ шутки здѣсь вы-

сказана, мнѣ кажется, очень глубокая и вѣрная мысль. Что̀ такое, въ концѣ концовъ, орѳографія? Культурная роскошь, своего рода признакъ аристократизма и воспитанія. Ея роль, пожалуй, не выше и не значительнѣе роли какихъ нибудь тонкихъ аристократическихъ духовъ. Свѣтская дама не станетъ душиться разными мѣщанскими пачули или гвоздикою, а непремѣнно какою нибудь индійскою сиренью или персидскою резедою, хотя бы эта индійская сирень или резеда съ точки зрѣнія аромата очень немногимъ превосходила пачули или гвоздику. Но это отличье налагаетъ на свѣтскую даму особый отпечатокъ, и намъ стоитъ только понюхать воздухъ, чтобы безошибочно рѣшить, съ кѣмъ мы имѣемъ дѣло. Въ области воспитанія я охотно допускаю и понимаю долговременную, подчасъ тяжелую выучку, которая въ результатѣ способна дать одинъ только формальный признакъ культуры. Мы допускаемъ манеры, мы учимъ дѣтей дѣлать книксены и шаркать ножкою. Допустимъ же орѳографію и признаемъ необходимость культурной манеры письма.

* *
*

Я заговорилъ объ орѳографіи, главнымъ образомъ, потому, что нынче въ нашихъ семейныхъ кругахъ и гостиныхъ очень много толкуютъ о реформѣ образо-

ванія и обученія дѣтей и толкуютъ именно въ томъ смыслѣ, что надо имъ сообщать необходимыя свѣдѣнія, а культурное, молъ, отличье можно въ карманъ спрятать. Когда споръ достигаетъ болѣзненной напряженности, въ гостиную обыкновенно вызывается для иллюстраціи Коленька или Петенька, которые въ интересахъ педагогической истины обязаны въ теченіи добраго получаса разыгрывать довольно глупую роль и хлопать немного заспанными глазами.

— Чему ихъ учатъ! восклицаетъ заботливый папенька. Вы посмотрите на него—вѣдь это колода какая-то! Коля, что̀ такое воздухъ?

— Я не знаю, папенька. У насъ этого не проходили.

— Колода! Не проходили! А на is исключенія знаешь?

— Знаю: panis, piscis...

— Колода!

Въ это время въ разговоръ вмѣшивается заботливая маменька, которая толковала больше о переутомленіи учащихся. Она осторожно проводитъ рукою по щекѣ Коленьки и нѣжнымъ голосомъ (oh! les sentiments d'une mère!) спрашиваетъ:

— Тебя не утомили, дружокъ, уроки? Ты здоровъ? да?

Коленька нѣкоторое время старается понять, чего

отъ него хотятъ и что онъ чувствуетъ, но никакъ не можетъ справиться съ этою задачею. Наконецъ, онъ начинаетъ слезливо моргать глазами и произноситъ:

— У меня утромъ животъ болѣлъ, маменька...

Конечно, Коленьку уводятъ, но педагогическій идеалъ выясненъ вполнѣ: нужно учить дѣтей такъ, чтобы они знали, что такое воздухъ, и чтобы у нихъ никогда не болѣлъ животъ.

Любопытнѣе всего, что всѣ эти sentiments d'une mère и sentiments d'un père, и вообще вся эта доморощенная педагогическая труха облекается въ форму настоящихъ, такъ сказать, идеальныхъ педагогическихъ теорій. Читаешь иной разъ статью въ какой-нибудь газетѣ о переутомленіи и необходимости практическаго образованія, и все стараешься припомнить, гдѣ это слышалъ. Ахъ, да вѣдь это sentiments d'un pe! Буква въ букву.

— А позвольте васъ спросить, на кой чортъ мнѣ нужно знать, кто такой былъ царь Артаксерксъ?!

— А позвольте васъ спросить, много ли я умнѣе сталъ отъ того, что знаю, что винительный падежъ отъ sinapis будетъ sinapim, а не sinapem?!

Эти sentiments d'un père производятъ въ массѣ крайне тяжелое, почти одуряющее впечатлѣніе. Въ концѣ концовъ, это не «реализмъ», который правильно или неправильно, ставилъ во главѣ образова-

нія принципъ пользы, а просто на-просто самодовольное тупоуміе. Въ былое время такъ называемое реальное направленіе въ педагогіи прикрывалось хотя какими-нибудь псевдо-національными соображеніями или физіологіею, или кто ихъ тамъ знаетъ, чѣмъ еще. Говорили о томъ, что русскій умъ питаетъ «идіосинкразію» (одно слово-то чего стоитъ!) къ древнимъ языкамъ, что наша культура должна идти по другому пути, а не повторять культурную исторію мѣщанскаго Запада. Дамы писали о томъ, что Гомеръ и Виргилій фривольны и напоминаютъ сборники разсказовъ Мопассана «Au clair de la lune» и «Maison Tellier». Глупо все это было, конечно, но изобличало все таки извѣстную работу ума и привычку проникать если не въ корень, то въ глубь вещей. Нынче педагогическіе взгляды нашихъ культурныхъ людей удивительно упростились. Нужна, говорятъ, полезность, а полезно только то, что немедленно можно продать за двугривенный. Полезно знать новые языки, ибо за переводы платятъ деньги; полезно знать двойную бухгалтерію, потому что банковскіе чиновники живутъ припѣваючи и каждую недѣлю покупаютъ себѣ новые галстухи; полезно знать ботанику, потому что на ботаникѣ основано производство настоекъ; полезно знать химію, потому что мыловаренные заводы приносятъ высокій процентъ дохода. Но sinapis—чортъ съ нимъ! Утили-

зируйте sinapis на мыловаренномъ заводѣ, если вамъ угодно!

Нѣтъ сомнѣнія, что проще такого взгляда ничего даже быть не можетъ. Такъ вотъ оцѣнщики ломбарда разсуждаютъ, когда устанавливаютъ «свободное соглашеніе» съ заемщикомъ.

— Десять золот. Двадцать руб. желаете?

— Да помилуйте! Вы поглядите, работа какая. Художественная отдѣлка.

— Тэкъ-съ... Такъ желаете двадцать руб.?

— Да вы Бога-то побойтесь! Вѣдь это фамильная драгоцѣнность...

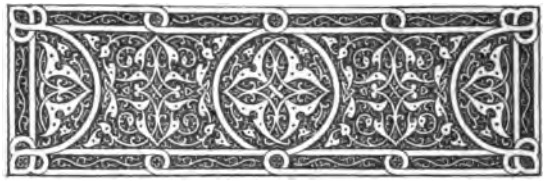
— Фамильная, тэкъ-съ... Такъ желаете по 2 р. за золот.?

Очевидно, заемщикъ совершенно напрасно теряетъ время. Онъ забылъ, что для оцѣнщика существуетъ обязательная точка зрѣнія, для которой ни художественность, ни фамильныя традиціи не имѣютъ ровно никакой цѣны. Онъ оцѣниваетъ на вѣсъ двугривеннаго, и въ этомъ заключается вся его сила и все его могущество.

Наше общество, въ которомъ настоящихъ культурныхъ и образованныхъ людей очень мало, тоже цѣнитъ образованіе «на вѣсъ» и «на ломъ». Можно открыть мыловаренный заводъ—значитъ, система образованія чудесная; нельзя — значитъ, она ничего не

стоитъ. Главное, это количество золотниковъ и двугривенныхъ. Вы толкуете о какой-то «дисциплинѣ ума»! Чудесно. Но сколько золотниковъ въ «дисциплинѣ ума», сколько золотниковъ въ художественномъ вкусѣ, въ гуманитарномъ складѣ мышленія? Увы, все это предметы невѣсомые, и потому да здравствуетъ массивный, хотя быть можетъ, и дурно пахнущій мыловаренный заводъ!

Если такъ пойдетъ дальше, то несомнѣнно наступитъ день, когда мы отмѣнимъ орѳографію, потому что на вѣсъ и на ломъ она не стоитъ ни одной полушки. Въ этотъ день, можетъ статься, Анна Каренина напишетъ Вронскому billet doux слѣдующаго вида и орѳографическаго колорита: «Извесчаю тѣбя, мой милы, што я тѣбя люблю страхъ какъ и всѣгда о тебе припаминаю судовольствіѣмъ». И получивъ цыдулку, Вронскій будетъ счастливъ, какъ сорокъ тысячъ братьевъ, и съ сердечнымъ трепетомъ станетъ цѣловать ровненькія бисерообразныя строчки, выведенныя аристократическою ручкою.



ИВАНОВЪ.

Мнѣ хочется поговорить о пьесѣ г. Чехова—«Ивановъ» т. е. не о самой пьесѣ, а по поводу ея. Въ наше время это такая рѣдкость—пьеса, по поводу которой можно что нибудь сказать, что упустить такой случай, право, грѣшно. Послѣ «Иванова» непремѣнно пойдетъ какой нибудь «Баловень» или какая нибудь «Тайна», или какая нибудь «Тетенька». Объ этихъ пьесахъ ничего не скажешь, будь хотя семи нядей во лбу, потому что въ нихъ все условно: условная сценичность, условное содержаніе, условный юморъ, условный эффектъ. Для оцѣнки этихъ условныхъ пьесъ и выработана особая условная манера, начинающаяся гримасою и заканчивающаяся условнымъ вздохомъ. И это ужасно скучно слушать такія пьесы и читать такія оцѣнки.

Пьеса г. Чехова тѣмъ и хороша, что отъ нея вѣетъ чѣмъ то непосредственнымъ, свѣжимъ, выхва-

ченнымъ изъ жизни. Впрочемъ, пьеса такъ и называется—«Ивановъ». Ивановъ не претендуетъ на интересность. Интересенъ можетъ быть «Сорванецъ», потому что онъ сорванецъ, «Байбакъ», потому что онъ байбакъ, какой нибудь «Мужъ знаменитости», потому что онъ поставленъ въ совершенно исключительныя условія, но Ивановъ... Ивановъ, этотъ многоголовый Ивановъ, эта квинтъ-эссенція срединнаго человѣка, у котораго личность поглощается множественностью—какъ и почему можетъ онъ приковать слушателя?

Я увѣренъ, что приблизительно такимъ образомъ разсуждали вчера профессіональные поставщики современнаго драматическаго репертуара. Съ ихъ точки зрѣнія, въ пьесѣ нѣтъ «гвоздя», нѣтъ единства дѣйствія, нѣтъ интереса новизны, разнообразія и еще Богъ знаетъ чего.

И однако, какъ много въ этой драмѣ человѣчнаго, теплаго и правдиваго!

* * *

Ивановъ, это—все и ничего, смотря по тому, какъ вы приступаете къ Иванову. Ивановъ—все, потому что въ каждомъ изъ насъ сидитъ частица Иванова; Ивановъ—ничего, потому что Ивановъ ничего собою не выдвигаетъ, ни одной стороны человѣческаго духа не возводитъ на степень героическаго трагизма,

не рѣшаетъ и не пробуетъ рѣшать ни одной вѣковѣчной загадки человѣческаго существованія. Ивановъ, это—сѣроватое пятно, составляющее фонъ человѣчества. Есть оберъ-Ивановы, которые гордо поднимаютъ свои головы и несутъ ихъ въ такомъ видѣ черезъ страницы исторіи, и есть субъ-Ивановы, развившіе въ себѣ до виртуозной нервности или вѣрнѣе, до нервной виртуозности всю низменность человѣческой натуры, всю пошлость, гадость и грязь, составляющія достояніе порочнаго духа. Но Ивановъ—ни то, ни другое; Ивановъ, это—просто Ивановъ. Всю свою жизнь Ивановъ вертится, какъ бѣлка въ колесѣ, не зная, зачѣмъ живетъ, что̀ его ждетъ, поглощенный моремъ мелочей, безъ проблеска впереди, безъ одухотворяющей и всепоглощающей идеи. И когда приходитъ срокъ, Ивановъ умираетъ, не оставляя ни наслѣдства, за которое борются послѣдующія поколѣнія, ни выдвинутыхъ имъ задачъ, ни серьезнаго слѣда—ничего, кромѣ пустаго мѣста, которое немедленно регистрируется и заполняется новымъ Ивановымъ. И смерть у него такая-же сѣрая, какъ и жизнь. Непремѣнно—такъ. Г. Чеховъ сдѣлалъ крупнѣйшую ошибку, заставивъ Иванова застрѣлиться. Получился, разумѣется, эффектный конецъ въ сценическомъ отношеніи, но литературная и житейская правда сильно пострадала. Ивановъ не долженъ стрѣляться, потому что такъ закан-

чиваютъ жизнь только немногіе, тогда какъ Ивановъ, это — масса. Слова: «во мнѣ пробудилась прежняя кровь Иванова», это—да проститъ мнѣ авторъ рѣзкость выраженія—большая и неисправимая ложь. Какая-такая «прежняя кровь»? У Иванова нѣтъ ни «прежде», ни «теперь», ни «завтра». Ивановъ, это—длящійся человѣческій кисель, если можно такъ выразиться, который иногда волнуется, иногда вздувается на тарелкѣ и даже подпрыгиваетъ, но который никогда, безъ вмѣшательства посторонней силы, не распадется самъ собою. Ибо въ киселѣ есть что-то связующее, цементирующее, и этотъ цементъ есть сущность Иванова.

И вся безтолочь Ивановской жизни, вся безформенная нескладица его существованія отражаются рельефнѣйшимъ образомъ каждый день, каждую минуту...

Ивановъ влюбился и женился. Это—совершенно по Ивановски. Но прошло три года, и Ивановъ пересталъ любить жену. Опять-таки, совершенно по Ивановски. Чѣмъ виноватъ Ивановъ, что онъ больше не любитъ жены? Чѣмъ виноватъ Ивановъ, что узнавъ о роковой болѣзни жены, онъ не чувствуетъ безъисходной щемящей тоски, а только испытываетъ просто непріятное ощущеніе пустоты? Да ровно ничѣмъ. И однако, «умъ молчитъ, а сердцу ясно».

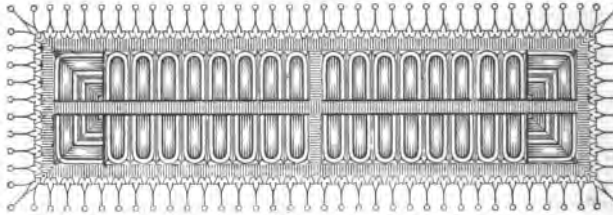
Другая женщина влюбляется въ Иванова, и онъ чувствуетъ, какъ въ немъ начинаютъ трепетать звенящія струны. Плыть по теченію или удержаться? Въ сущности, почему не поплыть? Жизнь такъ устроилась, значитъ — плыть надо. И однако, «умъ молчитъ, а сердцу ясно». Наконецъ, жениться-ли ему во второй разъ или нѣтъ? По человѣчеству судя, почему ему не жениться? Почему собственными Ивановскими руками оттолкнуть отъ себя единственно доступное и возможное для него, Ивановское счастье? И однако, «умъ молчитъ, а сердцу ясно»...

Драматизмъ Ивановскаго положенія, собственно говоря, заключается въ томъ, что онъ, Ивановъ, которому на роду написано быть только Ивановымъ, и ничѣмъ больше, попадаетъ вдругъ въ самую гущу психологіи и въ самую середину неразрѣшенныхъ и пожалуй, неразрѣшимыхъ человѣческихъ вопросовъ. Свободно чувство или несвободно? Что̀ выше, право или обязанность? Отвѣчайте, если можете; создайте такую комбинацію условій, такую житейскую обстановку, при которой, положа руку на сердце, вы могли-бы отвѣчать по чистой совѣсти: да, выше то-то, поступать слѣдуетъ такъ-то...

Представьте себѣ, что въ эту гущу попадаетъ оберъ-Ивановъ или субъ-Ивановъ. Какъ поставится вопросъ—ясно само по себѣ. Оба рѣжутъ съ плеча:

одинъ доведетъ столкновеніе ума и сердца до потрясающаго героизма, до ослѣпительной яркости и подавляющей выпуклости; другой превратитъ вѣчную загадку человѣческаго духа въ шутовскую буффонаду. Одинъ, рѣшая вопросъ, взорвалъ бы такъ сказать себя на воздухъ, другой—шлепнулся-бы прямо въ лужу и тамъ въ грязи похоронилъ-бы и вѣчный вопросъ. Но Ивановъ, настоящій, непосредственный Ивановъ, можетъ только барахтаться, терзаться, балансировать между жаждою счастья и эхомъ сердечной пустоты. У г. Чехова есть и оберъ-Ивановъ и субъ-Ивановъ. Одинъ прямолинейный земскій врачъ, закалившій себя въ представленіи о долгѣ и обязанности до элементарной простоты, до какой-то ходячей сентенціи, другой, полупьяный управляющій, готовый каждую минуту шлепнуться въ лужу и совершить гнусность стихійно, «безъ борьбы, безъ нужды роковой». И каждый съ своей точки зрѣнія не можетъ и не хочетъ понять Иванова.

Но за то, ахъ, господа, какъ за то хорошо понимала Иванова зрительная зала!... Здѣсь все сидѣли свои, родственные по духу Ивановы, запутавшіеся и увязшіе въ психологической гущѣ. И каждый хлопокъ шелъ прямо отъ сердца: толпа Ивановыхъ жила съ Ивановымъ, терзалась съ нимъ, и роняя жгучія слезы, оплакивала дурацкую Ивановскую долю...



МАНІЯ ВЕЛИЧІЯ.

Мои нервные и впечатлительные читатели, я думаю, узнаютъ, не безъ интереса о томъ, что въ только-что минувшемъ году исполнилось ровно сто лѣтъ со дня установленія, если можно такъ выразиться, новой науки—«психіатріи». Сто лѣтъ назадъ, не болѣе того, люди были такъ счастливы, что не знали о существованіи цѣлой области страданій духа, и они такъ мало цѣнили свое счастье, что промѣняли здоровое невѣдѣніе на больной умъ, больную совѣсть и больное сердце.

По поводу этого столѣтняго юбилея психіатріи вышла чрезвычайно интересная книга извѣстнаго французскаго ученаго Реньяра. Реньяръ съ цифрами въ рукахъ показываетъ, какими гигантскими шагами развиваются психическія болѣзни. Мало того, что умножается число психическихъ больныхъ,—но появля-

ются цѣлыя эпидеміи душевныхъ болѣзней. Между прочимъ, самою распространенною формою эпидемическихъ заболѣваній душевнымъ разстройствомъ является такъ называемая «mania grandiosa»—манія величія. Реньяръ приводитъ сотни случаевъ заболѣванія этою маніею. Случалось, что цѣлые города впадали въ душевное разстройство. Реньяръ ничего не говоритъ о болѣе крупныхъ собирательныхъ единицахъ, но кажется, что государства и народности точно также подвержены этой формѣ заболѣванія эпидемическаго характера.

Во всякомъ случаѣ здѣсь крайне знаменательны два факта: во-первыхъ, тотъ, что душевныя болѣзни могутъ принимать и подчасъ дѣйствительно принимаютъ форму эпидемій, и во-вторыхъ, тотъ, что характерною и отличительною особенностью психическаго разстройства является манія величія. Выводы науки не только не представляютъ, такимъ образомъ, чего нибудь неожиданнаго, но вполнѣ совпадаютъ съ выводами жизни. Мы отлично знаемъ по опыту, какъ заразительна всякая психопатія, и въ частности, какъ заразительно раздутое самолюбіе ничтожества, претендующаго на величіе.

Оставимъ Реньяра въ покоѣ. Онъ клиницистъ, но не сердцевѣдъ. Для житейской иллюстраціи гораздо болѣе интереса представляетъ литература въ ея наибо-

лѣе общихъ и популярныхъ произведеніяхъ. Присмотритесь къ литературѣ прошлаго вѣка или лучше сказать, прошлыхъ вѣковъ. Вы не найдете тамъ даже призрака того, что̀ характеризуетъ поэзію Байрона, Гейне, Мюссе, Лермонтова. Байронизмъ, который безраздѣльно властвовалъ въ литературѣ въ теченіи четверти вѣка, если не больше, представляетъ, въ сущности, ничто иное, какъ очень яркое проявленіе маніи величія. Печоринъ, близкій родственникъ Чайльдъ-Гарольда, позволяетъ или во всякомъ случаѣ, считаетъ для себя позволеннымъ демонически хохотать надъ женщинами, издѣваться надъ среднимъ человѣкомъ Грушницкимъ, снисходить до любви и дружбы. Вы скажете, что онъ иногда самъ терзается этою приподнятостью и этимъ высокомѣріемъ. Пусть такъ, но вѣдь не это важно, а важенъ самый складъ натуры Печорина, свидѣтельствующій, какъ нельзя лучше, о маніи величія. Ролла Мюссе въ своемъ родѣ тоже маніакъ, все равно чего—подлости или благородства. О Гейне нечего говорить. Гейне въ каждой строчкѣ проникнутъ маніею величія, и всѣ эти знаменитые Гейневскіе переходы отъ грандіознаго къ пошлому и мелкому, всѣ эти тривіальности на ряду съ самыми высокими и потрясающими образами обнаруживаютъ такое сверхъестественное презрѣніе къ человѣчеству, которое мы-

слимо только подъ условіемъ ненормальнаго самовозвеличенія.

У Достоевскаго большинство дѣйствующихъ лицъ страдаетъ маніею величія, причемъ здѣсь эта манія вступаетъ въ особый фазисъ. Манія величія выражается не только въ томъ, что маніакъ подавляетъ презрѣніемъ окружающее, но и въ томъ, что, изъ сознанія своего превосходства и величія, позволяетъ окружающему всякое насиліе надъ собою. Вмѣсто того, чтобы заставлять страдать другихъ, маніакъ принимаетъ страданіе на себя, но не потому, что таково непосредственное влеченіе его сердца, а потому, что это эффектно, интересно, что это выдвигаетъ его личность на особую высоту, до которой чрезвычайно далеко окружающей мелюзгѣ.

* *
*

Жизнь говоритъ еще громче литературы и науки. Нынѣшній молодой человѣкъ, самый обыкновенный и заурядный молодой человѣкъ, представляетъ въ большинствѣ случаевъ жертву маніи величія. Правда, эта манія не производитъ въ громадномъ большинствѣ случаевъ физіологическихъ измѣненій въ его мозгу и потому онъ, раньше или позже, освобождается отъ недуга. Но послѣдствія психической реакціи громадны. Молодой человѣкъ свергаетъ себя сразу съ такой высоты,

что весь организмъ его и вся его душа испытываютъ мучительное ощущеніе ничтожества и безсилія. У него нѣтъ ни желаній, ни стремленій, ни воли, нѣтъ потому, что и стремленія, и желанія, и воля были въ немъ такъ неестественно раздуты и приподняты, что нервное истощеніе совершенно неизбѣжно.

Манія величія охватываетъ молодаго человѣка еще на первыхъ порахъ его сознательнаго существованія. Очень часто первые приступы маніи овладѣваютъ имъ даже на школьной скамьѣ. Тогда онъ замыкается въ себя, напускаетъ на свою личность какой-то таинственный мракъ, какой-то покровъ загадочности, чуждается товарищей, друзей, даже книгъ, и все думаетъ, думаетъ, думаетъ... И въ тоже время жизнь даетъ ему толчокъ за толчкомъ, подавляетъ его призрачное величіе реальнымъ ничтожествомъ и заставляетъ его играть подчасъ самую унизительную житейскую роль. Какъ!? Онъ, которому «звѣздная книга ясна», онъ, съ которымъ говорила «морская волна», онъ долженъ думать о завтрашнемъ днѣ, о презрѣнномъ пятакѣ, объ обѣдѣ, о фунтѣ чаю и о керосинѣ для лампы! И однако, это такъ... Его «я» разрывается между презрѣніемъ къ человѣчеству и фунтомъ керосину...

Очень часто за этимъ слѣдуетъ сухой, отрывистый выстрѣлъ и коротенькая записка: «жизнь надоѣла».

Но разумѣется, надоѣла вовсе не жизнь. Надоѣла безъисходная скребня самолюбія, вѣчная борьба безмѣрныхъ порываній и слабой безхарактерной натуры, надоѣли притязанія, психопатическія ожиданія царицы Мабъ, которая слетитъ откуда-то съ неба и вознесетъ маленькаго человѣка въ горнія сферы...

Иногда, наоборотъ, пишутся прижизненныя записки. По правдѣ сказать, тѣ, которые пишутъ посмертныя записки гораздо лучше т. е. проще тѣхъ, которые пишутъ прижизненныя записки. Прочтите «При свѣтѣ совѣсти» г. Минскаго. Это продуктъ такой-же безцѣльной скребни самолюбія, съ тою разницею, что у человѣка хватаетъ мужества сладострастно каяться въ своемъ ничтожествѣ, въ томъ разсчетѣ, что другіе перетолкуютъ ничтожество въ величіе... Я не хочу быть дурно понятымъ, и отношу свои слова не къ г. Минскому съ его больною совѣстью, а къ автору довольно удачнаго памфлета на страдающихъ маніею величія людей. Иначе я не могу понять это странное произведеніе. Его можно было бы назвать «стихотвореніемъ въ прозѣ», если бы оно было хотя сколько нибудь поэтично. Его можно было бы считать опытомъ субъективной, что ли, философіи, если бы оно намѣренно и сознательно не было построено на парадоксахъ и самыхъ невѣроятныхъ крайностяхъ. Въ дѣйствительности, это ни то, ни другое, а только пам-

флетъ. Вы видите предъ собою какого-то мятущагося эксцентрика, помѣшаннаго на томъ, что онъ не можетъ стать выше звѣзднаго неба, глубже океана, необъятнѣе атмосферы. Таково общее впечатлѣніе исповѣди, безукоризненной, какъ сатира, и до нельзя фальшивой, какъ повѣсть покаянія. Ибо есть несомнѣнно родъ униженія, который паче гордости.

* * *

Выводы науки являются весьма кстати. О нашемъ вѣкѣ мы говоримъ не иначе, какъ съ придыханіемъ: «нашъ вѣкъ», «нашъ XIX вѣкъ», «нашъ прогрессивный вѣкъ» и чортъ знаетъ что еще.... Раньше никогда не говорили ничего подобнаго. Люди XVIII вѣка, или XII или XV не говорили: «нашъ XVIII или XV вѣкъ», не закатывали при этомъ зрачковъ, и не приглашали всѣхъ благоговѣйно преклоняться предъ величіемъ ихъ эпохи.

Понятія «культуры» «цивилизаціи», «прогресса», которыя мы произносимъ при всякомъ удобномъ и неудобномъ случаѣ, были почти неизвѣстны предшествующимъ вѣкамъ. Предшествующіе вѣка знали конкретныя выгоды, конкретныя невыгоды и конкретныя представленія. Мы первые пошли дальше и ввели обыкновеніе говорить о величіи и о цивилизаціи, какъ объ общихъ показателяхъ эпохи, и что̀ еще хуже —

мы до сихъ поръ совершенно искренно увѣрены, что настоящее величіе есть то величіе, которое мы переживаемъ, и что если стоило жить, то только въ нашъ просвѣщенный XIX вѣкъ.

И вдругъ, является Реньяръ и доказываетъ, что характеристическою чертою нашего вѣка служитъ манія величія. Ахъ, такъ вотъ въ чемъ дѣло! Ну, теперь понятно все, и то, почему мы такъ собою гордимся, и то, почему мы выдѣляемъ нашъ вѣкъ изъ общей цѣпи вѣковъ, и многое другое... Это просто манія величія, и нашъ XIX вѣкъ только призрачная fata morgana...

КУЛЬТУРНЫЯ БОЛѢЗНИ.

По случаю весеннихъ опустошеній въ рядахъ нашихъ выдающихся культурныхъ людей, въ одномъ изданіи подняли вопросъ «о непроизводительной тратѣ силъ» и о мѣрахъ борьбы съ нею. Несмотря на внѣшнюю наивность пріема, вопросъ, затронутый газетою, дѣйствительно чрезвычайно жгучій и серьезный. Мретъ у насъ много, чрезвычайно много, до обидности много, и притомъ мретъ въ ту именно пору жизни, которая по англійскимъ, напримѣръ, понятіямъ считается чуть-ли не преддверіемъ зрѣлаго возраста. Давно-ли англійскія газеты называли еще Гладстона «нашъ молодой государственный человѣкъ»? Лѣтъ десять назадъ. А вѣдь Гладстону нынче за 75 лѣтъ!

У насъ культурный человѣкъ начинаетъ скрипѣть, едва ему минетъ 30 лѣтъ. Къ 40 годамъ его культурная дѣятельность окончательно прекращается, по-

тому что все его вниманіе, всѣ его мысли и вся его энергія направлены на какой-нибудь катаръ желудка или какую-нибудь больную печень. А дальше начинается сумеречное и тихое мерцаніе догорающей свѣчи...

Такъ, напримѣръ, умеръ высоко-даровитый, блестящій профессоръ А. Д. Градовскій. Въ сущности, это былъ не человѣкъ, а больная печень, по крайней мѣрѣ такимъ я его знаю еще съ университетскихъ лѣтъ. Съ виду онъ былъ коренастый или во всякомъ случаѣ, пропорціонально-сложенный мужчина, которому-бы только жить да поживать. Но стоило всмотрѣться въ прозрачную желтизну его лица, въ лихорадочно-блестящіе глаза, гдѣ то и дѣло вспыхивали какія-то тревожныя искры, чтобы сразу понять, что этотъ человѣкъ скрипитъ, и скрипитъ безнадежно.

Это ужасно, когда у человѣка болитъ печень. Еще болѣе ужасно, когда люди, у которыхъ печень совершенно здорова, принуждены отдуваться за чужую печень. Вотъ почему, вѣроятно, на студентовъ появленіе профессора Градовскаго съ экзаменаціоннымъ спискомъ въ рукахъ производило такое болѣзненное впечатлѣніе, и вотъ почему многіе, отдавая справедливость его уму и дарованіямъ, прямо-таки его не любили. Но я сужу по собственнымъ впечатлѣніямъ. Мнѣ онъ нравился, даже больше, я его просто любилъ. Я видѣлъ въ этой больной печени темпераментъ,

живую отзывчивость, нервную страстность, человѣческую, а не профессорскую чувствительность ко всякому вопросу, въ которомъ слышится нервъ современности. Оттого его лекціи, не смотря на несовершенства профессора въ отношеніи декламаціи и разныхъ другихъ ораторскихъ тонкостей, всегда слушались съ интересомъ и не ослабѣвающимъ вниманіемъ.

У него были свои «историческія» привязанности и свои историческія антипатіи. Но въ особенности онъ не любилъ Меттерниха. Доктора могутъ говорить все, что угодно, но я убѣжденъ, что главная причина болѣзни профессорской печени это—Меттернихъ. Ахъ, какъ онъ не любилъ его! Онъ его жарилъ на медленномъ огнѣ, повертывая свой научно-историческій вертелъ почти съ какимъ-то сладострастнымъ наслажденіемъ, и такъ, и эдакъ, и бокомъ, и задомъ напередъ, и на разные манеры. А Меттернихъ все молчалъ, молчалъ по той простой причинѣ, что всю свою дипломатическую работу продѣлывалъ молча и предоставлялъ оппозиціи губить свои нервы и печень...

Студенты знали эту слабость профессорской печени и нахально эксплуатировали ее. Мнѣ стыдно сознаться, я самъ, собственною персоною, разносилъ Меттерниха съ такимъ кровожаднымъ видомъ, какъ будто Меттернихъ мой заклятый врагъ, и я поклялся на гробѣ матери мстить ему безпощадно. И мнѣ еще бо-

лѣе стыдно сознаться, что довѣрчивая печень уважаемаго профессора мнѣ вполнѣ повѣрила, и очень снисходительно отнеслась къ моему круглому невѣжеству по части перваго департамента правительствующаго сената.

* *
*

Трудно долго прожить съ больною печенью или больнымъ сердцемъ. Это очень простая истина, и она лучше всякихъ туманныхъ мудрствованій отвѣчаетъ на вопросъ, почему у насъ происходитъ такая непроизводительная трата силъ, и почему, наоборотъ, въ Англіи шестидесятипятилѣтній старецъ называется молодымъ государственнымъ человѣкомъ. Наши культурные люди, какъ и вся наша культура, страдаютъ чаще всего одною изъ этихъ двухъ болѣзней, или болѣзнью сердца, или болѣзнью печени. Болѣзнь сердца, это—болѣзнь нервной чуткости и отзывчивости; болѣзнь печени, это—болѣзнь раздражительности. И та, и другая болѣзнь предполагаютъ одинаково усиленную циркуляцію крови, безполезную затрату физической энергіи, порывы, мечты и многое другое; обѣ болѣзни культивируются, обѣ начинаются съ пустяковъ и обѣ органичны, а стало быть, неизлечимы. Было время, когда «амплуа» культурной болѣзни занимала подагра, но это время безвреднаго романтизма давно прошло и

быльемъ поросло. Тургеневъ, отпрыскъ барскаго стариннаго рода, жившій для литературы и не находившій ни въ кругу близкихъ людей, ни въ обществѣ ничего, кромѣ академическихъ интересовъ, могъ еще страдать подагрою. Но Градовскій—никогда!

Мнѣ кажется, что на распространеніе у насъ культурныхъ болѣзней не малое вліяніе оказали неправильность, скоротечность нашего развитія. Если-бы наше культурное прошлое представляло такой же правильный и постепенный путь историческаго развитія, какъ западная культура, мы бы, пожалуй, научились умѣренному и разсчетливому употребленію своихъ нравственныхъ и умственныхъ силъ. Но отсутствіе преемственности именно и губитъ наши лучшія силы. Получилъ человѣкъ, который былъ яко нагъ, яко благъ, яко нѣтъ ничего, колоссальное наслѣдство. Что̀ онъ сдѣлаетъ? Онъ или расшвыряетъ чортъ знаетъ куда всѣ свои деньги, будетъ давать двадцатипятирублевки на чай лакеямъ, ѣздить по Самаркандамъ и поить рысаковъ шампанскимъ, или наоборотъ, сожмется, сократится до послѣдней степени и будетъ, какъ Гарпагонъ, дрожать надъ каждою копѣйкою. «Или въ зубы, или ручку пожалуйте» —таковы двѣ крайнія точки, далѣе которыхъ не въ силахъ проникнуть сознаніе вчерашняго parvenu.

Наши культурные люди ужасно похожи на этихъ

parvenu. Поглядишь на одного: сидитъ, съежившись въ углу, и ни однимъ движеніемъ не выдаетъ своего культурнаго происхожденія. Совсѣмъ какая-то первобытная дубина, точно его никогда не полировали и ничѣмъ не шлифовали. Поглядишь на другаго: не человѣкъ, а прямо какой-то комъ нервовъ. Въ одной половинѣ грудной клѣтки у него засѣлъ Меттернихъ, въ другой—какой-нибудь «общечеловѣкъ», и сосутъ они его до послѣдняго вздоха, сосутъ до того, что человѣкъ начинаетъ жить не обыкновеннымъ нормальнымъ складомъ человѣческой жизни, а какими-то галлюцинаціями...

Умеръ недавно профессоръ Миллеръ, тоже совсѣмъ не старикомъ, и тоже отъ культурной болѣзни: разорвалось у него сердце. И кто зналъ этого добрѣйшаго человѣка, съ его туманною любовью ко всѣмъ и каждому, съ его поклоненіемъ «всечеловѣку», «всепрощенію» и «всемилосердію», могъ заранѣе предвидѣть, что у него непремѣнно съ сердцемъ выйдетъ скверная исторія. Профессоръ Градовскій былъ, по своей натурѣ, человѣкомъ другого закала, любилъ онъ не «всечеловѣка», а опредѣленнаго человѣка, и «всепрощеніе» признавалъ только въ силу принципа. И опять у него это выразилось болѣзненно, жгуче, въ страстной нетерпимости, съ одной стороны и страстной преданности съ другой,—и все это, и то, и другое, одинаково

подтачивали его организмъ. А былъ-бы на его мѣстѣ какой-нибудь профессоръ Мильхзуппе! Теоретически, быть можетъ, онъ былъ-бы еще большимъ противникомъ Меттерниха, чѣмъ покойный профессоръ, но практически—excusez du peu! станетъ онъ изъ за него печень разстраивать!

ПОЭТЪ ДЕКАДАНСА.

На-дняхъ въ Кіевѣ судили совсѣмъ еще молодаго человѣка, принадлежащаго къ хорошей фамиліи, Теплова, по обвиненію въ разныхъ вексельныхъ недоразумѣніяхъ. Мѣстные хроникеры и фельетонисты посвятили процессу много строчекъ, облитыхъ ядомъ сарказма и негодованія. Для мѣстнаго муравейника процессъ дѣйствительно представлялъ громадный интересъ и яркую, пикантную окраску. Тепловъ былъ, что называется, «душа общества»; онъ умѣлъ очень мило болтать съ дамами, великолѣпно игралъ глазами, носилъ прекрасную шевелюру, обворожительно дирижировалъ танцами, обладалъ неистощимою котильонною фантазіею и неизсякаемымъ запасомъ «крупной соли свѣтской злости».

Но кромѣ всего этого, онъ былъ — поэтъ. Да, поэтъ, и притомъ не какой-нибудь поэтъ «рукопис-

ный», а настоящій, печатный. Въ прошломъ году онъ даже выпустилъ цѣлую книжку своихъ стихотвореній. Я просматривалъ нѣкоторыя изъ нихъ въ одной газетѣ, посвятившей разбору поэтическаго дарованія г. Теплова большую критическую статью. И хотя критикъ довольно обстоятельно доказывалъ, что г. Теплову не хватаетъ такъ-называемой «сосредоточенности фантазіи», однако я остался при томъ мнѣніи, что г. Тепловъ ни ниже, ни выше другихъ, и навѣрное написалъ-бы знаменитые стансы:

Подъ кустомъ, въ началѣ мая,
Я забылъ съ Аглаей міръ...—

если-бы эти стансы не были уже написаны соединенными усиліями цѣлой группы молодыхъ дарованій.

Такъ вотъ этотъ самый поэтъ, потихоньку отъ музы, навѣдывался къ дисконтерамъ. Придетъ, и при помощи нѣкоторыхъ поэтическихъ вольностей, предусмотрѣнныхъ уставомъ о векселяхъ, настрочитъ оду въ честь Меркурія. Строчилъ онъ такимъ образомъ долго, потому что, кромѣ снисхожденія къ пылкому поэтическому темпераменту г. Теплова, въ исторіи съ векселями замѣшаны были доброе имя всѣми уважаемаго лица, семейная драма, романическая интрига, разбитое сердце, тревожное счастье и большое множество другихъ чрезвычайно тонкихъ психологическихъ

осложненій. Однимъ словомъ, обыкновенная исторія дряннаго хлыща, умѣющаго каждый болящій нервъ родственнаго сердца превращать въ подложный бланкъ.

* *
*

Тепловъ—типичный образчикъ поэта декаданса. Я разумѣю «декадансъ» не въ литературномъ значеніи этого слова, хотя несомнѣнно, что и литературная физіономія эпохи декаданса представляетъ чрезвычайно много интереснаго и поучительнаго,—а главнымъ образомъ, въ общественномъ. Вы можете признавать за Тепловымъ настоящее поэтическое дарованіе, можете отрицать его—отъ этого дѣло мало измѣнится. Если человѣкъ занимается въ серьезъ писаніемъ стиховъ, то какъ-бы ни были плохи стихи и какъ-бы ни было безцвѣтно само по себѣ ихъ содержаніе, вы не можете автору отказать въ одномъ: въ смутномъ влеченіи къ изящному, въ нѣкоторой идеалистической складкѣ натуры, въ извѣстной восторженности характера. Профессоръ Менделѣевъ, напримѣръ, не станетъ писать стихи; г. Санъ-Галли, насколько я себѣ его могу представить, также едва-ли чувствуетъ склонность къ версификаціи. Несомнѣнно, что перомъ водитъ натура, и безъ натуры немыслимо представить себѣ не только настоящаго поэта, но и обыкновенную ворону въ поэтическихъ перьяхъ.

Поройтесь хорошенько въ литературѣ тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ. Вы увидите, какое мѣсто отводится тамъ, въ романахъ и повѣстяхъ, поэту. Это были обязательные, непремѣнные jeune premier'ы, безъ которыхъ, какъ и безъ представителей офицеровъ расквартированнаго полка, не обходилась ни одна самая завалящаяся повѣстушка. Разумѣется, далеко не всѣ были Пушкины, Лермонтовы или даже Бенедиктовы, но у всѣхъ были непремѣнно «кудри черныя до плечъ и всегда восторженная рѣчь». Я согласенъ, что въ этомъ шаблонѣ поэтическаго jeune premier проглядывало много дѣтскаго, фальшиваго, наивнаго. Но основной, жизненный тонъ былъ совершенно вѣренъ. Въ поэты шло все, что̀ было хоть чуточку повыше окружающаго, что̀ не мирилось съ однообразіемъ подавляющей пошлостью тогдашней провинціальной жизни, что̀ искало другихъ путей, другой жизни, другихъ идеаловъ. Сама по себѣ поэзія, которая часто не шла дальше все тѣхъ же пресловутыхъ стансовъ «подъ кустомъ въ началѣ мая», была только формулою, въ которой выливался молодой порывъ, горячій протестъ, искреннее чувство, быть можетъ и немудрое, и нелитературное, но несомнѣнно непосредственное.

Таковъ былъ поэтъ эпохи процвѣтанія. Прошли года. Jeune premier'омъ сталъ такъ называемый «трезвый, положительный умъ», а поэты преврати-

лись въ комическія, долговязыя вѣшалки, необходимыя для оживленія хода дѣйствія. Темпераментъ считался чѣмъ-то недостойнымъ уважающаго себя и дорожащаго своею репутаціею человѣка, а восторженный характеръ и идеализмъ красовались во главѣ списка смертныхъ грѣховъ. Женщины не бросали вверхъ чепчиковъ при видѣ поэта; гораздо хуже: онѣ фыркали. Гдѣ жили тогда поэты? Я не знаю, вѣроятно гдѣ нибудь въ мансардахъ. Шевелюру, и ту у нихъ отвоевали «трезвые, положительные умы». Даже г. Боборыкинъ въ то время занимался химіею, ибо темпераментъ и инстинктъ jeune premier'а безошибочно подсказывали ему, что химія гораздо вѣрнѣе ведетъ къ «кустамъ въ началѣ мая», чѣмъ самые законченные, самые яркіе стансы и мадригалы.

* * *

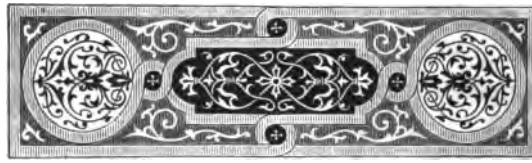
Но и это прошло и быльемъ поросло. Поэтъ возродился, но возродился какъ-то безвкусно, пошло, въ какомъ-то омерзительномъ стилѣ рококо. Въ поэты нынче записываются не представители молодаго задора, не восторженные мечтатели, не горячія сердца, безсильныя сдержать волну кипучаго негодованія, а психопаты, съ одной стороны, и оподлившіеся фаты, съ другой. Поэтъ эпохи процвѣтанія любилъ женщинъ до безумія—это правда; но онъ не былъ альфонсомъ.

Онъ былъ легкомысленъ въ денежныхъ дѣлахъ, бралъ иногда у пріятеля деньги безъ отдачи, самъ давалъ, когда онѣ у него водились; но онъ не ставилъ фальшивыхъ бланковъ. И къ нему иногда заходилъ «презрѣнный еврей» по поводу приключенія съ «прекрасною гречанкою» и «черною шалью»; но онъ не сроднился и не приросъ къ темному, гешефтмахерскому міру дисконтеровъ и не заключалъ съ ними сердечнаго союза...

Въ былое время темпераментъ Теплова съ его разнузданною жаждою наслажденій, съ его зоологическою распоясанностью и невмѣняемостью, привелъ-бы его не къ званію поэта, а къ существованію бреттера. Горячіе темпераменты въ то время рѣзко распадались на два типа: одни, проникнутые мягкостью, мечтательностью, мелапхоліею и строгою пуританскою честностью, другіе,—дикіе, непосредственные, для которыхъ на первомъ планѣ стоялъ инстинктъ, а не мысль и не сердце. Но и этотъ типъ безконечно симпатичнѣе утонченнаго типа развратнаго хищничества и подлой продажности, облеченной въ яркую мантію поэтической восторженности.

Да, Ленскій умеръ безвозвратно!.. «Блеснетъ завтра лучъ денницы», но изъ этого ровно ничего не выйдетъ. Общественный декадансъ убилъ типъ юноши-поэта, не понятаго одними, осмѣяннаго другими,

оставленнаго всѣми. Большія черныя очи не станутъ отнынѣ ронять крупныя слезы, идущія прямо отъ сердца, слезы обозленнаго самолюбія и погибшихъ мечтаній. Нынѣшнихъ поэтовъ и ихъ поэтическіе нравы отлично понимаютъ и литературный фондъ, и Элеоноры Кукуфузы, и даже господа дисконтеры...



ЖИЗНЕННЫЙ ЭЛИКСИРЪ.

Броунъ-Секаровскій жизненный эликсиръ не даетъ спать очень многимъ. Страждущее человѣчество обладаетъ ужасно пылкою фантазіею, и вѣра въ всевозможныя цѣлительныя фантасмагоріи прямо пропорціональна ветхости организма. На дняхъ мнѣ случилось прочесть въ одной газетѣ разсужденіе о томъ, что жизненный эликсиръ не только глупая, но и антиморальная выдумка. Мнѣ знакомъ немного публицистъ, обмолвившійся грознымъ обличеніемъ. Онъ весьма плотнаго сложенія и чрезвычайно цвѣтущаго здоровья, и я вполнѣ понимаю, почему онъ такъ смѣло позволяетъ себѣ

Хохотать надъ мудрецами
И влюбленными глазами
На прекрасную глядѣть...

Мнѣ приходилось сталкиваться съ представителями

крайне придирчивой философской критики, скептиками до мозга костей, отрицавшими безъ колебаній самые высокіе авторитеты. Они не вѣрили ни Конту, ни Канту, ни Миллю, ни г. Слонимскому, ни его антиподу, г. Михайловскому. И однако, когда рѣчь заходила объ ихъ рѣдѣющей шевелюрѣ, они питали совершенно юношескую беззавѣтную вѣру въ элеопатъ для рощенія волосъ. Таково свойство человѣческой натуры.

Не помню гдѣ, Броунъ-Секара вскользь сравнивали съ Мефистофелемъ. Авторъ этого сравненія, кажется, самъ не понималъ всей глубины своего замѣчанія. Исторія Фауста, тоскующаго по Маргаритѣ, прелестной дѣвѣ, прядущей шерсть, — глубоко человѣческая исторія. Фаустъ покупаетъ наслажденіе самою дорогою цѣною, какую можно себѣ только представить: онъ отдаетъ *душу*, т. е. ту половину «я», которая придаетъ наслажденію его возвышающій характеръ. Замѣтьте: Мефистофель не обѣщаетъ полнаго возрожденія. Онъ предлагаетъ только превратить Фауста въ цвѣтущаго юношу, обладающаго физически всѣми данными для обольщенія. Но душа Фауста—уже не юношеская душа. Фаустъ строенъ, ловокъ, граціозенъ, у него ясные, кипучіе глаза и сильное энергическое дыханіе. Одного только у него нѣтъ, и никогда не будетъ: чистой незапятнанной юношеской души, нимѣющей на совѣсти грѣховъ, вѣрующей, беззавѣтно от-

дающейся, не отравленной ядомъ сомнѣнія. Душою Фаустъ-юноша пережилъ давнымъ давно свой возрастъ. «Кудри черныя до плечъ и всегда восторженная рѣчь» нисколько не мѣшаютъ ему быть, въ концѣ концовъ, старымъ нѣмецкимъ геллертеромъ, утратившимъ вѣру въ людей, въ идеалъ, въ честность своей экономки, въ питательность своего мильхзупе и во все, во все рѣшительно. Недаромъ онъ безпрестанно повторяетъ:

Мнѣ скучно, бѣсъ!

Ему дѣйствительно скучно. Скучно оттого, что другіе, неподдѣльные юноши такъ веселы, а ему, старому грѣшнику, все какъ-то не по себѣ, и онъ самъ, усталый, опустившійся, не можетъ въ точности опредѣлить, что̀ ему въ концѣ концовъ нужно: потопить «грузъ богатый шоколата» или снискать расположеніе Прекрасной Елены.

Что изъ этого слѣдуетъ? спросите вы. Мнѣ кажется, что возрожденіе при помощи жизненнаго эликсира Броунъ-Секара совершенно тождественно съ возрожденіемъ Фауста, продавшаго свою душу дьяволу. Ни тутъ, ни тамъ нѣтъ полнаго возрожденія, а есть только разцвѣтъ физическихъ силъ. Шестидесятилѣтній старикъ приходитъ къ Броунъ-Секару и подставляетъ свои высохшія плечи для впрыскиваній. Хорошо. Что-же дальше? Развѣ впрыскиванія эликсира

въ состояніи снять съ шестидесятилѣтняго старика бремя сомнѣній, разочарованій и нравственной усталости? Развѣ впрыскиванье въ состояніи изгладить рядъ мучительныхъ воспоминаній о пережитомъ и выстраданномъ?

«Тьмы низкихъ истинъ намъ дороже насъ возвышающій обманъ» —сказалъ поэтъ. Человѣчество живетъ иллюзіею, и нѣтъ ничего болѣе скучнаго, мертвящаго и безцвѣтнаго, чѣмъ неподкрашенная, извѣданная житейская истина. Увы! Никакое впрыскиванье, никакой эликсиръ не дадутъ надеждъ, упованій, розовой мечты и упоительной грезы, и никогда человѣческій умъ не придумаетъ противоядія противъ страданій духа, угнетеннаго жизнью. Подумайте, какая цѣпь разочарованій ждетъ возрожденнаго при помощи жизненнаго эликсира старика! Онъ чувствуетъ, какъ сильно напрягаются мускулы его ногъ, но ему никуда не хочется идти. Онъ знаетъ, что тамъ ничего нѣтъ, что всѣ его цѣли, всѣ его надежды — пустой звукъ. Когда-то, *въ его время*, онъ во что-то вѣрилъ, онъ думалъ, что у него выростутъ крылья, и онъ полетитъ необыкновенно высоко, такъ что весь міръ будетъ смотрѣть на него и удивляться. Фантазія! Никуда не полетишь... Онъ любилъ въ свое время, и онъ любитъ теперь... Но какая разница Тогда! у него въ груди «дрожали жизни силы», и каждая женщина

казалась ему дивнымъ инструментомъ, издававшимъ необыкновенные аккорды,—теперь онъ знаетъ цѣну аккордамъ. Онъ разбилъ въ дребезги десятки инструментовъ, и горькимъ опытомъ дошелъ до убѣжденія, что все это мечта, вздоръ, что клятвы, музыка рѣчей и плѣнительные взоры—одно огромное сцѣпленіе лжи и шарлатанства. И онъ долженъ вѣрить?! Онъ долженъ все забыть, и идти опять на встрѣчу плѣнительнымъ аккордамъ только потому, что Броунъ-Секаръ приготовилъ въ ступкѣ какую-то мерзость и сдѣлалъ ему подкожное впрыскиванье?

Нынче въ моду вошелъ маргариновый вопросъ. Говорятъ, въ настоящее время все дѣлается по рецепту маргарина. Но Броунъ-Секаръ превзошелъ всѣхъ: онъ собирается производить маргариновую юность...

МОЛОДОЕ ПОКОЛѢНІЕ.

МОЛОДОЕ ПОКОЛѢНІЕ.

I.

«Печально я гляжу на наше поколѣнье»... Это еще Лермонтовъ сказалъ, стало быть давно это было, и однако, стихъ все еще поражаетъ своею полною современностью, а дума, положившая пятьдесятъ лѣтъ назадъ печать на чело Лермонтова, имѣетъ и нынче полное право оставить соотвѣтствующую складку.

Говорятъ, впрочемъ, что жалобамъ современниковъ довѣрять не слѣдуетъ: современникъ-де всегда привередливъ и склоненъ къ преувеличенію. Съ извѣстной точки зрѣнія, такой взглядъ представляется совершенно правильнымъ. Современникъ крайне рѣдко бываетъ философомъ, но почти всегда художникомъ и носителемъ темперамента; онъ больше чувствуетъ, чѣмъ разсуждаетъ. Да это и не удивительно: общественный вопросъ является для современника не академическою темою на премію графа Уварова, а вопро-

сомъ собственныхъ боковъ. Гдѣ ужъ тутъ удержаться въ предѣлахъ размѣреннаго научнаго ритма? Жизнь подгоняетъ пытливую мысль съ быстротою, вовсе не свойственною и даже непонятною черезъ одно, два поколѣнія; современнику нуженъ выводъ, который бы билъ по нервамъ и оглушалъ бы мысль, выводъ быть можетъ черезчуръ рельефный, грубый и рѣзкій, но такой, который можно было бы немедленно вдвинуть въ русло общественныхъ теченій. А научная Улита, тихонько ѣдущая и неизвѣстно когда еще поспѣющая— зачѣмъ она современнику? Это цѣнность будущаго, которую нельзя иначе реализировать, какъ съ большимъ убыткомъ для себя.

Отчасти я говорю это pro domo sua. Я собрался написать нѣсколько статей по вопросу, слишкомъ животрепещущему для современности. Потомъ, спустя много лѣтъ, когда нынѣшнее молодое поколѣніе станетъ поколѣньемъ отжившимъ и пожалуй, забытымъ, я, быть можетъ, самъ запрошу прощенія за все, «еже переписахъ и недописахъ». Но нынче это составляетъ мое большое и глубокое убѣжденіе... Я самъ прошелъ отъ начала до конца всю лабораторію, въ которой изготовлялось поколѣніе, только-что вступившее въ жизнь, и поочередно прикладывался ко всѣмъ источникамъ живой воды, бившимъ на протяженіи послѣднихъ періодовъ нашей умственной жизни. И когда я сформировался въ ак-

тивную, дѣйствующую силу, я все-таки съ недоумѣніемъ оглядываюсь на себя и на свое поколѣніе: что̀ мы такое, какая наша роль, что̀ мы призваны дѣлать, что̀ мы дѣлаемъ и на что̀ мы способны?

На всѣ эти вопросы получаются довольно грустные отвѣты. Самое больное мѣсто нашего существованія— это то, что мы не знаемъ, кто мы такіе, и что на нашей безразличной физіономіи, лишенной рѣзкихъ штриховъ и бликовъ, очень трудно что-нибудь прочитать,— совсѣмъ такъ, какъ выражался Добчинскій о Хлестаковѣ: «молодой человѣкъ недурной наружности, въ партикулярномъ платьѣ».

Я припоминаю разсказъ, которымъ дебютировалъ лѣтъ 10 — 15 назадъ покойный Новодворскій «Ни пава, ни ворона». Это былъ полубеллетристическій, полупублицистическій, полуфельетонный этюдъ, въ которомъ точно также устанавливались черты молодаго поколѣнія 70-хъ годовъ. Мнѣ смутно представляются подробности разсказа, но помнится, тамъ господствуетъ какая то запутанная генеалогія: тамъ былъ и Рудинъ, и Печоринъ, и Онѣгинъ, и Базаровъ, и Волоховъ, и всѣ они другъ друга называли «братецъ», тогда какъ герой повѣсти подобострастно называлъ каждаго «дяденькой». Такъ или почти такъ велъ разсказъ покойный авторъ. Съ тѣхъ поръ, однако, утекло очень много воды, и отношенія перепутались до такой

степени, что о простой «дядиной» генеалогіи нечего и думать.

Начните съ рѣзкаго и недолгаго въ нашей жизни нечоринскаго типа. Какъ ему приходится нынѣшній молодой человѣкъ недурной наружности, въ партикулярномъ платьѣ? Никакъ. Вотъ Рудинъ, perpetuum mobile идеализма и фразъ, горячее сердце, безпочвенный мечтатель. Онъ еще болѣе чуждъ нашему сѣренькому вѣку. За Рудинымъ тянется полоса «мыслящаго реализма». Вотъ крѣпко сработанная, немного вульгарная, но энергическая фигура Базарова, вносившаго съ собою всюду не только запахъ «дешеваго табаку и здороваго мужчины», но и особый эсъ-букетъ плебейской мысли. Сродни ему нынѣшнее молодое поколѣніе? Ни мало. Далѣе идетъ цѣлая серія разновидностей, порожденныхъ Базаровымъ, но возведшихъ форму въ сущность, и замѣнившихъ парадоксальную остроту плебейскаго ума — несложнымъ мычаніемъ. Эта серія обрывается въ концѣ семидесятыхъ годовъ, обрывается рѣзко, круто, не оставляя по себѣ никакихъ, ни положительныхъ, ни отрицательныхъ слѣдовъ...

Съ точки зрѣнія общественной динамики, это даже совсѣмъ непонятно. За короткій сравнительно промежутокъ времени, русское общественное сознаніе пережило и продумало, правда, очень много формъ, но всѣ

онѣ на-крѣпко скованы цѣпью исторической необходимости. Кокетничавшій собою скептицизмъ, вытѣсненный горячими, золотыми сердцами сороковыхъ годовъ, перешелъ въ новую фазу совершенно естественно, законно. Точно также законно, на смѣну фразеологическому прекраснодушію, пошла новая умственная полоса «холодныхъ наблюденій», безъ всякихъ «горестныхъ замѣтъ». А отсюда естественно вытекали тѣ нестрядинныя штаны и упрощенные принципы нравственности, въ которыхъ «Молодая Россія» Гирса, Омулевскаго et tutti quanti кувыркалась цѣлыхъ 20 лѣтъ на подмосткахъ здраваго смысла...

Все это тѣсно связано между собой и взаимно обусловлено. Авраамъ роди Исаака, Исаакъ роди Іакова... И вдругъ, эта историческая нить порывается, и на расчищенной аренѣ появляется просто молодой человѣкъ недурной наружности, въ партикулярномъ платьѣ...

Что бы ни говорили о паденіи литературы и оскудѣніи талантовъ, она все же всегда была и будетъ самымъ совершеннымъ и доступнымъ зеркаломъ. Но не странно-ли, въ самомъ дѣлѣ, что въ литературѣ послѣдняго времени не только нѣтъ изображенія господствующаго типа въ молодомъ поколѣніи, но даже нѣтъ и слабыхъ попытокъ взяться за такое дѣло? Беллетристы и романисты чрезвычайно охотно и съ боль-

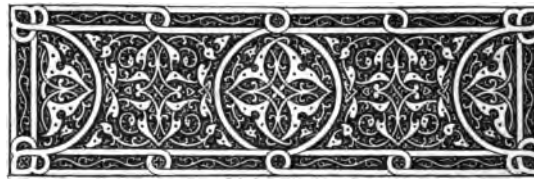
шою плодовитостью изображаютъ, какъ молодые люди спятъ, ѣдятъ, одѣваются, влюбляются и стрѣляются; мы знаемъ, какъ проводитъ жизнь теноръ di grazia; знаемъ, что дѣлаетъ молодой князь, когда, для поправленія разстроенныхъ дѣлъ, ухаживаетъ за богатою купчихою; знаемъ, какъ молодой докторъ пишетъ диссертацію о какихъ-то мышцахъ и живетъ съ своею женою, Раичкою; знаемъ даже, кто такіе «Иванъ Куцый и жена его Феська». Все это мы отлично знаемъ и даже можемъ разсказать, если не такъ давно читали. Но вотъ чего мы не знаемъ: мы не знаемъ, что же они представляютъ въ общей сложности, есть-ли какая-нибудь связь между теноромъ, княземъ, докторомъ, или всѣ они — сами по себѣ, живутъ за свой собственный счетъ и другъ другу не указъ. И наконецъ, высшая степень незнанія: мы не можемъ ничего отвѣтить на вопросъ — существуютъ-ли для нихъ общая сфера, общая мораль, общія условія жизни и общіе идеалы!

Причина этой односторонности и узкости художественнаго письма лежитъ вовсе не въ мелкотѣ талантовъ. Она коренится просто въ томъ, что молодой человѣкъ недурной наружности, въ партикулярномъ платьѣ можетъ еще представлять какой-нибудь интересъ, взятый въ условіяхъ и обстановкѣ своего личнаго существованія, но никакъ не въ качествѣ собирательнаго цѣлаго. Двѣнадцать молодыхъ людей соот-

вѣтствуютъ только тѣмъ двѣнадцати нѣмцамъ, о которыхъ Бёрне презрительно выразился, что они составляютъ дюжину, а когда имъ скучно, то призываютъ полицію. Это только дюжина, связанная единствомъ партикулярнаго платья и общею безличностью. Но тогда гораздо интереснѣе, разумѣется, повѣствованіе объ Иванѣ Куцомъ и женѣ его Феськѣ, нежели о дюжинѣ представителей молодаго поколѣнія...

И вотъ это сознаніе всего грустнѣе для современника: чувствовать, что передъ глазами проходитъ поколѣніе людей, ни дурныхъ, ни хорошихъ, не то чтобы очень дѣльныхъ, но и не то чтобы совсѣмъ бездѣльныхъ, не вполнѣ практиковъ и матеріалистовъ, но и не выспреннихъ мечтателей и горячихъ головъ,— поколѣніе, которое такъ же безслѣдно и незамѣтно исчезнетъ, какъ и незамѣтно появилось въ русской жизни.

Кто же укралъ у насъ будущее?



II.

Оторванность нынѣшняго молодаго поколѣнія отъ предъидущихъ теченій русской мысли стоитъ, мнѣ кажется, внѣ всякаго спора. Если провести грань общаго, историческаго характера, то собственно говоря, можно подмѣтить только два рѣзкихъ теченія: теченіе дворянскаго романтизма и мѣщанскаго дѣла. Оговариваюсь: термины употреблены мною, быть можетъ, не совсѣмъ вѣрно, но мысль во всякомъ случаѣ ясна. Я хочу сказать, что до нарожденія «мыслящаго пролетаріата» и наступленія эпохи реформъ, всѣ поколѣнія, не смотря на внѣшнее различіе, были въ сущности порожденіемъ дворянской Россіи, немного безалаберной, немного безтолковой, но искренней, цѣльной, отзывчивой на все художественное и отвлеченное. Этотъ дворянскій романтизмъ въ одинаковой степени былъ присущъ «москвичу въ гарольдовомъ плащѣ» и кружкамъ московскихъ гегеліанцевъ. Гарольдовъ плащъ, какъ и дебри гегеліанской тріады, ничего не измѣняли и ничему не препятствовали: плащъ

преблагополучно висѣлъ на гвоздикѣ, когда дѣйствительность предлагала «соблазнъ новой красоты», или даже просто крупное наслѣдство; съ другой стороны, упражненія на философской трапеціи «все существующее—разумно», нисколько не мѣшали хотя бы тому же Бѣлинскому возмущаться крѣпостнымъ правомъ. Жизнь же, сама по себѣ, не нуждалась ни въ формулахъ, ни въ философіи; она была накрѣпко слажена и плотно сколочена. Эта цѣльность, правда, была немного скучна, и вотъ почему такъ много мѣста, времени и чести удѣлялось романтическому блужданію мысли.

Когда старая дворянская Россія поколебалась, романтизмъ всѣхъ оттѣнковъ и цвѣтовъ глубоко ушелъ въ ея разщелины. Появилась цѣлая армія Карловъ Мартелловъ, и громадными «реалистическими» молотами безъ пощады дубасила отжившихъ романтиковъ. Это было по истинѣ жестокое истребленіе. Улица, вторгнувшаяся въ общественную сферу, вела себя съ тою развязностью и непринужденностью, съ какою въ древнія времена лошади побѣдителей вели себя въ храмѣ побѣжденныхъ, и эта грубая распоясанность заставила очень скоро пожалѣть о стертыхъ въ порошокъ романтикахъ, съ ихъ безвреднымъ чириканьемъ...

Что оставалось молодому поколѣнію? Ничего. Романтизмъ лежалъ поверженный въ прахъ, а «дѣло»

приняло совсѣмъ характеръ гнусности, и исчерпало себя до дна. Конечно, молодое поколѣніе могло пойти совершенно самостоятельною дорогою и выработать, путемъ труда и напряженія, новый строй мыслей и понятій и новый мотивъ практической дѣятельности; но для этого ему необходимъ былъ цѣлый рядъ благопріятныхъ условій. А въ окружающемъ ихъ вовсе не было,—напротивъ, все сложилось такимъ образомъ, чтобы помѣшать этой творческой работѣ.

Отрицательныя черты той обстановки, при которой росло и воспитывалось молодое поколѣніе, имѣли полную возможность его искалѣчить и задержать нормальное развитіе молодыхъ силъ. Едва-ли можно себѣ представить что-нибудь нелѣпѣе того времени. Въ воздухѣ стоялъ настоящій революціонный чадъ; я говорю: «революціонный» не въ смыслѣ политическомъ, а въ смыслѣ поголовнаго возстанія умовъ. Всѣ чего-то хотѣли, чего-то искали, къ чему-то стремились; до всего каждый хотѣлъ дойти своимъ умомъ, непосредственно. Мысль горѣла, если позволено будетъ такъ выразиться, въ пустомъ пространствѣ, а вмѣстѣ съ нею перегорала и вѣра во все, чѣмъ живы люди.

Это горѣніе мысли имѣло въ себѣ что-то заразительное. Дѣти во всемъ подражали взрослымъ; на гимназическихъ скамьяхъ дебатировались вѣчные вопросы духа и разрѣшались соціальныя проблемы. Въ

пятнадцать лѣтъ считалось обязательнымъ имѣть «развитіе», въ семнадцать—слѣдовало уже въ свою очередь выполнять развивательскую миссію. Вмѣстѣ съ понятіемъ о равнобедренныхъ треугольникахъ надлежало уже усвоить понятіе о томъ, что есть такая наука, политическая экономія, которая всѣмъ наукамъ—наука, и изъ которой слѣдуетъ, что мой рубль не есть богатство, тогда какъ булка, поддерживающая физическія силы, есть подлинный источникъ богатства. Откуда все это появилось? Я самъ задаю себѣ этотъ вопросъ, но какъ ни роюсь въ памяти, я не могу найти объясненія. Иной разъ мнѣ кажется, что я такъ и родился съ понятіемъ о томъ, что рубль есть постольку благосостояніе, поскольку это допускается Джономъ Стюартомъ Миллемъ...

Эта дикая и нелѣпая полоса гимназическаго «отрицанія» еще совершенно не изслѣдована, а между тѣмъ она въ высшей степени любопытна и поучительна. Несомнѣнно, что это броженіе дѣтскаго ума было чисто патологическаго происхожденія. Въ существѣ мы оставались дѣтьми. Но мы дышали въ какой-то дурацкой атмосферѣ,—словно какой-то микробъ кружился въ воздухѣ, сидѣлъ въ гимназическихъ чернильницахъ, гнѣздился въ подкладкѣ нашихъ синихъ мундирчиковъ...

Что же дѣлала школа, на попеченіе которой мы

были отданы? Въ лучшемъ случаѣ, она ничего не дѣлала, въ худшемъ—она дѣлала прямо обратное тому, что̀ слѣдовало. Я никакъ не могу забыть, какъ меня, гимназиста четвертаго класса, тринадцати-лѣтняго мальчика, призвали, вмѣстѣ со всѣми къ директору и какъ этотъ директоръ читалъ намъ долгую нотацію на ту тему, что не слѣдуетъ, молъ, слушаться людей, которые вооружаютъ насъ противъ правительства и церкви. Честное слово, меня никто не вооружалъ ни противъ правительства, ни противъ церкви... Помнится, я даже въ первый разъ услышалъ слово «правительство». Но во всякомъ случаѣ, мнѣ это ужасно понравилось, что вотъ есть какіе-то люди, которымъ очень хочется заключить со мною союзъ. И у меня, да я увѣренъ, и у другихъ, тутъ же мелькнула мысль, что если свирѣпый Николай Андреевичъ будетъ очень надоѣдать съ своими греческими глаголами на «mi», то мы уйдемъ къ «тѣмъ людямъ» и будемъ воевать съ правительствомъ...

Я бы могъ привести изъ своихъ гимназическихъ воспоминаній множество такихъ же фактовъ, доказывающихъ полную несостоятельность пріемовъ, которыми пользовались, чтобы направить взбудораженный дѣтскій умъ въ тихую пристань. Раздувая дѣтскія шалости и безсвязный лепетъ младенческаго ума въ сознательный актъ протеста, школа только подливала

масла въ огонь. Многое, о чемъ только смутно догадывались, выдвигалось репрессіею начальства, въ видѣ ясно намѣченнаго и очерченнаго пункта. И мысль горѣла, кипѣла въ собственномъ соку, потому что эта гимназическая наука, разсчитанная на дѣтскую невинность и на дисциплинированіе незрѣлаго и наивнаго ума, не могла доставить никакого матеріала для горѣнія. Это было въ полномъ смыслѣ слова—самосожженіе.

* * *

Зародышъ безпочвенности, составляющій самый главный и крупный грѣхъ нынѣшняго поколѣнія, слѣдуетъ искать, такимъ образомъ, далеко позади, въ годы ранней юности. Еще тамъ обнаруживаются всѣ признаки умственнаго и нравственнаго пустоцвѣта и отсутствія прочныхъ устоевъ. Между тѣмъ, для нормальнаго развитія требуется наличность какого-нибудь дисциплинирующаго начала. Это можетъ быть либо опредѣленный идеалъ, подготовляющій настоящее для будущаго, либо какая-нибудь прочная традиція, регулирующая настоящее во имя прошлаго, либо наконецъ серьезный трудъ, который самъ по себѣ является и цѣлью, и преданіемъ, и средствомъ. Но во время нашей школьной юности не было ни того, ни другаго, ни третьяго. Идеалы отцовъ сами пережили крупный

крахъ; разумѣется, кое-какіе обрывки носились въ воздухѣ, кое-какія общественныя фантасмагоріи мелькали у нихъ передъ глазами, но все это было не то, и не этимъ можно было дать тонъ школьному воспитанію. Что касается традицій, то я уже выяснилъ, насколько могъ, что въ сущности, послѣ паденія дворянскаго романтизма и крѣпостной Россіи, о преемственности, въ настоящемъ смыслѣ этого слова, не могло быть и рѣчи. «Мыслящій реализмъ» сожралъ безъ остатка всѣ вѣянія добраго стараго времени, что впрочемъ, и не удивительно: онъ слишкомъ много голодалъ, чтобы не обнаружить чудовищнаго аппетита...

Въ 18 лѣтъ, т. е. ко времени поступленія въ университетъ, юноша уже былъ «готовъ». Онъ успѣлъ пройти нѣсколько стадій умственнаго разгильдяйства, успѣлъ проникнуться глубокимъ презрѣніемъ къ казенной, оффиціальной наукѣ, и главное—успѣлъ такъ облѣниться, что ровно ни на какую серьезную умственную работу не былъ способенъ. Его вѣра? Но какая же у него могла быть вѣра? Культурная среда отцовъ сама шаталась безъ вѣры, и въ большинствѣ жила отрицаньемъ и фырканьемъ на все существующее; школа была заѣдена формализмомъ, съ точки зрѣнія доступной для воспитанника внѣшности, а внутри она представляла тѣхъ же культурныхъ шатуновъ, не знавшихъ, какому Богу они молятся въ ду-

шѣ, и кто есть настоящій подлинный Богъ... Бездушный формализмъ школы, быть можетъ, главнымъ образомъ и обязанъ былъ тому, что руководили ею люди, не имѣвшіе сами никакой опредѣленной программы. Они были совершенно довольны, если въ стѣнахъ заведенія не было никакихъ скандаловъ и исторій, если воспитанники сидѣли на урокахъ, уткнувшись въ учебники, и не поднимали особенно щекотливыхъ вопросовъ. Внутренній міръ былъ предоставленъ самому себѣ; онъ могъ волноваться сколько угодно, но онъ не долженъ былъ покушаться на тощую тетрадку съ зеленою обложкою, на которой крупными буквами было напечатано: «правила для воспитанниковъ гимназій и прогимназій». И я помню эти правила, честное слово; я многое забылъ, и даже, къ стыду своему, не скажу теперь будущаго времени отъ греческаго «fero», но я отлично знаю, что во время прихода парохода мнѣ нельзя было появляться на пристани, и что принадлежности зимняго костюма воспрещено было соединять съ припадлежностями лѣтняго. Какъ мало, подумаешь, нужно было для того, чтобы не огорчать нашихъ наставниковъ! И однако, я ихъ все-таки подчасъ огорчалъ.

Высокомѣрное отношеніе къ школьной наукѣ является, по моему мнѣнію, зломъ чрезвычайно серьезнымъ и непоправимымъ. Оно порождаетъ тотъ именно

абсолютизмъ русскаго человѣка, который, въ сферѣ мысли, знаменуетъ либо геніальнаго мыслителя, либо никуда негоднаго разгильдяя. Большинство русскихъ культурныхъ людей такъ думаетъ, что если у нихъ на плечахъ есть голова, такъ имъ ужъ самъ чортъ не братъ, и все можно взять «натурою»... Въ нашемъ поколѣніи авторитетъ «натуры» стоялъ такъ высоко, какъ никогда. Университетъ рисовался нашему воображенію въ самыхъ заманчивыхъ краскахъ не потому, что то былъ храмъ науки и знанія, а потому, что тамъ предполагался полный просторъ натурѣ, не стѣсненной правилами о соединеніи принадлежностей зимняго костюма съ принадлежностями лѣтняго. Профессора, конечно, будутъ что-то читать, и можетъ быть даже очень дѣльное — это мы потомъ уже посмотримъ, но вообще намъ на это наплевать, потому что намъ нужно не фактическое богатство ихъ лекцій, а возможность безостановочно подогрѣвать натуру и собственную мысль.

Съ такими воззрѣніями, съ значительно увядшимъ сердцемъ, съ какими-то дурацкими и преждевременными морщинами на челѣ, съ хамскимъ презрѣніемъ къ дисциплинѣ и системѣ, мы вступали въ университетъ и начинали «новую жизнь». Первое время мы посвящали критицизму. Нужно было выяснить, кого стоитъ слушать, и кого—нѣтъ. Иксъ—очевидно, без-

дарность; когда его слушаешь, то поневолѣ сострадательно пожимаешь плечами. Игрекъ—человѣкъ глубокаго знанія, но онъ уходитъ въ мелочи и очень долго уже копается въ «Русской Правдѣ» — «аще дѣвка восхочетъ замужъ, а отецъ и мать силою вдадутъ»... Это неинтересно для «натуры». Зетъ—тоже несомнѣнно знатокъ своего дѣла, и очень симпатичнаго направленія притомъ, но онъ читаетъ неважный предметъ—какіе-то департаменты и канцеляріи. Значитъ, и его по боку. Но кого же слушать тогда? На комъ остановиться? Ахъ, да, есть такой искомый экземпляръ... Въ самомъ концѣ профессорской азбуки гдѣ-то на задворкахъ, притаилась удивительная Ижица. Съ виду это — ижица, какъ ижица, знаній у нея съ комариный хвостъ, научныя заслуги ограничиваются однимъ рефератомъ, напечатаннымъ въ спеціальномъ журналѣ, да и чинъ какой-то неважный, что-то губернскій секретарь или титулярный совѣтникъ. Но какой за то у Ижицы научный аппетитъ, какой гудящій звонъ идетъ отъ его лекцій! Какъ ликуетъ натура и трепещетъ сонная мысль!

И мы шли всею гурьбою слушать Ижицу. Хотя сравнительно это было недавно, но я никакъ не могу припомнить, о чемъ читала Ижица. Бокль, Кантъ, Фейербахъ, Спенсеръ, Гельмгольцъ, Лиліенфельдъ, Лапласъ, Клодъ Бернаръ, электричество, небесная ме-

ханика, гипнотизмъ, уголовная педагогія — все это мелькало, точно въ калейдоскопѣ. Ощущеніе было очень пріятное; насъ точно подбрасывало на качеляхъ: не успѣешь, какъ слѣдуетъ, взобраться въ надзвѣздные міры, открытые Лапласомъ, а ужъ электричество тутъ, какъ тутъ. Маленькій взрывъ — и мы уже сидимъ верхомъ на Фейербахѣ; за Фейербахомъ же притаился шельмецъ Клодъ Бернаръ. Погоди немного, мы и тебя достанемъ!

Если бы я сказалъ, что мы не сознавали всей плоскости и мелкоты Ижицы, я бы оклеветалъ мое поколѣніе. Мы прекрасно сознавали, что Ижица есть только ижица, на которую академикъ Гротъ едва-ли дастъ свое соизволеніе. Но ижица будитъ мысль, ижица приходится намъ сродни, потому что она, какъ и мы, валяетъ во всю...

Въ общихъ чертахъ, такимъ образомъ, университетская наука сохраняла для насъ всѣ черты гимназической, съ тою разницею, что «натура» получала импульсъ не извнѣ, а формально извнутри. Но натура все-таки преобладала и опредѣляла все теченіе нашей университетской жизни. Лекціи иксовъ, игрековъ и зетовъ кое-какъ вызубривались къ экзаменамъ, но центръ нашей умственной работы лежалъ все-таки въ сторонѣ. Гдѣ именно онъ лежалъ—я этого въ точности сказать не могу. Мода на естественныя науки

уже прошла и быльемъ поросла, политическая экономія и соціологія также уже перевалили за свой кульминаціонный пунктъ, а мода на исканіе началъ безусловной правды и этической теоріи только начала нарождаться.

Но это не важно. Важно, что это была все та же бурлящая мысль, висѣвшая въ воздухѣ, дезорганизованная, обольстительно округлая съ внѣшней стороны и поразительно пустая внутри. И не было того дисциплинирующаго знамени, того научно-общественнаго стяга, который бы могъ сплотить вокругъ себя учащуюся молодежь и оформить порывы ея блуждающей мысли.

* * *

Характернѣйшимъ признакомъ полнаго разброда мысли въ нынѣшнемъ поколѣніи служитъ совершенное отсутствіе кружковъ и товариществъ, имѣвшихъ въ былое время такое громадное значеніе. Не помню, съ чьей легкой руки такъ заругали кружковщину; но принципіально, она этого не заслуживаетъ: если она и представляетъ темныя стороны, то за то заключаетъ въ себѣ и много драгоцѣнныхъ свойствъ. Прежде всего, кружокъ есть организація, дисциплина, связующее начало, нравственный авторитетъ. Разумѣется, кружокъ можетъ быть очень скверною организаціею

и обладать нравственнымъ авторитетомъ весьма подозрительнаго свойства; такихъ кружковъ не мало было, но въ существѣ, кружковщина есть тяготѣніе другъ къ другу людей приблизительно одного образа мыслей, одного душевнаго склада и однихъ вѣрованій. Люди, родственные по духу, естественно соединяются въ группы; люди, имѣющіе что-либо за душою, естественно ищутъ защиты отъ анархіи и безначалія. И обратно, разобщенныя и нищія духомъ единицы не согласятся пожертвовать ни однимъ атомомъ свободы, чтобы соединять несоединимое и защищать несуществующее.

Что кружковщина можетъ выродиться въ деспотизмъ, кружковая мысль—въ прямолинейную глупость, а кружковая вѣра—въ грубый фетишизмъ, съ этимъ я не спорю, да и странно было бы, въ сущности, спорить. Вырождается все, и нѣтъ вещи, способной къ развитію, которая была бы застрахована отъ вырожденія; однако, это ничего не говоритъ противъ идеи развитія. Въ основѣ, кружки имѣли несомнѣнно серьезное значеніе, въ однихъ случаяхъ служа продолженіемъ школы, а въ другихъ—и вовсе замѣняя ее. Кружковая мысль всегда работала въ одномъ и томъ же опредѣленномъ направленіи; у нея былъ лозунгъ, mot d'ordre, которому она повиновалась, и который сообщалъ ей и выдержку, и цѣльность, и

энергію. Всѣ наши выдающіеся публицисты и носители политической мысли вышли, если хорошенько присмотрѣться, изъ кружковъ, и наоборотъ, вся беззаботная, юркая и безформенная публицистика послѣдняго времени есть ни что иное, какъ выраженіе полной обособленности и изолированности умовъ.

Разумѣется, для «натуры» кружокъ, ужь въ своей идеѣ, представляетъ нѣчто стѣснительное. Натура требуетъ свободы и влюблена въ самое себя, какъ Нарцисъ, а между тѣмъ кружокъ налагаетъ на мышленіе извѣстныя цѣпи, и вмѣсто культа личности, создаетъ культъ идеи. Во-вторыхъ, натура сама никогда не знаетъ, чего она хочетъ, тогда какъ кружокъ, который бы существовалъ такъ себѣ, внѣ опредѣленныхъ задачъ саморазвитія, былъ бы уже не кружкомъ, а случайнымъ сборищемъ. А намъ нравилась разбросанность нашей мысли; намъ улыбалась перспектива постоянно ширять по поднебесью, не чувствовать подъ собою земли, не стѣсняться ни системою фактовъ, ни опредѣленною цѣлью. Каждый изъ насъ представлялъ особый міръ, съ своими собственными гипотезами, собственнымъ ключемъ къ разрѣшенію общественныхъ и философскихъ проблемъ, и собственными пріемами изслѣдованія. Вотъ это логикъ, который заткнетъ за поясъ Милля и Лотце, это непримиримый отрицатель всего сущаго, это—гонитель историческаго ме-

тода, обмолвившійся двумя замѣчательными фразами: «все изъ себя—себѣ» и «исторія—старый календарь, который перелистываетъ только тотъ, кому дѣлать нечего», на что вотъ этотъ, склонный къ философской меланхоліи, замѣтилъ: «исторія разстраиваетъ человѣческіе нервы, дѣйствительность успокоиваетъ ихъ». Всѣ эти отрицатели, мыслители, бонмотисты, вершители судебъ, прорицатели будущаго, вся эта праздная орава голодныхъ умовъ, кормившихся возбуждающими пряностями и не имѣвшихъ куска простаго чернаго хлѣба, находила полное удовлетвореніе въ какомъ то почти факирскомъ созерцаніи своего пупка и собственной геніальности. Помирить логика и отрицателя, вывести ихъ изъ замкнутой обособленности, найти для нихъ общіе умственные интересы и общіе идеалы, можно было бы только пересоздавъ все поколѣніе и отдѣлавшись отъ «натуры». Но это было и слишкомъ трудно, и слишкомъ поздно.

Паденіе кружка отразилось еще и на иномъ. Въ кружкѣ, помимо идей научныхъ и общественныхъ, худо ли, хорошо ли, но развивались и идеи личной нравственности, развивались просто потому, что кружокъ подчинялъ частную волю общей и устанавливалъ своего рода систему нравственной самопомощи. Повторяю еще разъ: я не говорю ни объ исключеніяхъ, ни о практической цѣнности кружковъ съ точки зрѣнія

желательной этики. Но во всякомъ случаѣ, кружокъ создавалъ корпоративный патронатъ, препятствовавшій нравственной разобщенности. Когда кружковщина выродилась и кружковыя связи ослабѣли, среди молодежи стали возможными явленія, совершенно немыслимыя раньше. Укажу, напримѣръ, на новый совершенно типъ веселящейся молодежи. Появленіе въ средѣ студенчества «позлащеннаго» юношества слѣдуетъ отнести къ послѣднимъ годамъ. Раньше этого не было, а если и попадались отдѣльные экземпляры, то они все же старались маскировать такъ или иначе свою пустоту и свое эпикурейство. Нынѣшній позлащенный студентъ гордо несетъ свою голову: вы его можете увидѣть на всѣхъ первыхъ представленіяхъ кафе-шантаннаго оттѣнка, во всѣхъ привилегированныхъ, въ смыслѣ поздней ночной торговли, кабачкахъ, въ обществѣ какихъ-то подозрительныхъ купеческихъ сынковъ и будущихъ авторовъ фальшивыхъ вексельныхъ бланковъ. Попадались и такіе, что открыто поступали на содержаніе къ дамамъ солиднаго возраста, и ни мало не стѣснялись показываться съ ними во всѣхъ публичныхъ мѣстахъ. Всего грустнѣе здѣсь не безнравственность иныхъ представителей молодаго поколѣнія,—когда и гдѣ не бываетъ безнравственныхъ людей?—а отсутствіе всякаго протеста и фактическаго противодѣйствія со стороны всѣхъ насъ. Но намъ, ра-

зумѣется, было не до нихъ: разрозненные, разобщенные, носившіеся съ своею самостоятельностью, какъ съ писаною торбою, ушедшіе всецѣло въ себя и культъ своей геніальности, растерявшіе еще дѣтьми запасъ молодаго задора и протестующую горячность юнаго сердца, мы относились къ такимъ позорнымъ явленіямъ съ тусклымъ равнодушіемъ стариковъ. Потомъ, когда мы вступили въ жизнь, тусклость стала до извѣстной степени характернымъ признакомъ нашего поколѣнія, и были явленія еще болѣе позорныя и возмутительныя, которыя мы встрѣчали и провожали такимъ же потухшимъ, безразличнымъ и ничего невыражающимъ взглядомъ...

III.

Меня упрекнули кое-гдѣ въ пессимизмѣ. Въ одномъ изданіи появилась даже форсированная полемическая статья, въ которой довольно неубѣдительно доказывается, что я не вѣрю въ жизненныя силы Россіи. Разумѣется, это патріотическій вздоръ. Если я отрицаю будущность за нашимъ поколѣніемъ, если я пахожу его тусклымъ, безпомощнымъ и безцвѣтнымъ, то это значитъ только, что я осуждаю историческій моментъ, и даже не моментъ, во всей его сложности и пестротѣ, а единственно общій фонъ его. Бороться, поэтому, на почвѣ частныхъ фактовъ мнѣ не приходится; охотно вѣрю, что на Петербургской сторонѣ есть такой удивительный докторъ, который не беретъ за визиты свыше гривенника, но мнѣ кажется, что если бы вывести среднюю норму докторскаго гонорара, то она бы нѣсколько разнилась отъ этой цифры...

Съ точки зрѣнія общихъ вѣяній и того, что принято называть «признаками времени», мнѣ могутъ только противопоставить одно: стремленіе къ нравственному

самоусовершенствованію и упрощенію. Движеніе въ этомъ направленіи дѣйствительно существуетъ, хотя въ самыхъ микроскопическихъ размѣрахъ, и притомъ корни его не столько общественнаго, сколько литературнаго свойства. Ошибочно было бы думать, что единственнымъ литературнымъ его выразителемъ является графъ Толстой; сюда же слѣдуетъ отнести и покойнаго Кавелина, который въ своихъ «Задачахъ этики» сформулировалъ не съ меньшею силою и съ большею послѣдовательностью сущность нравственнаго развитія, и даже Гл. Успенскаго, по крайней мѣрѣ въ нѣкоторыхъ частностяхъ. Каждый изъ нихъ, разумѣется по своему и съ своей спеціальной точки зрѣнія, доказывалъ одно и то же: ищи самого себя въ себѣ, разработывай свою нравственную личность, подготовляй атомъ для цѣлаго, единицу для множества, клѣтку для организма. Совсѣмъ-ли это новое слово, или только подновленное, или вовсе даже старое—объ этомъ не будемъ спорить. Во всякомъ случаѣ, сравнительно съ тѣмъ, что было прежде, литературная реакція представляла несомнѣнныя черты свѣжихъ идей, долгое время остававшихся въ забросѣ. Холопье трепетаніе передъ объективными формулами, вѣчная погоня за какою-то историческою и философскою рецептурою, въ которой, молъ, все уже прописано, совершенно заслонили вопросъ о нравственной личности

и о мѣркѣ индивидуальной морали. О немъ пора было вспомнить; о немъ и вспомнили. Но кто вспомнилъ? Кто былъ авторъ новаго слова? Кто додумался до того, чтобы поставить рѣшительный и можетъ быть не совсѣмъ справедливый крестъ надъ цѣлою общественно-философскою полосою, со всѣми ея заблужденіями, упованіями и надеждами?

Это были не мы, во всякомъ случаѣ, это были даже не наши старшіе братья, а наши отцы и непосредственные руководители въ прошломъ. Они сами, горячіе, искренніе, мятущіеся, потеряли прежнюю вѣру въ раціонализмъ и всемогущество культуры. Новой вѣры имъ никто не далъ извнѣ; внутри ихъ, на развалинахъ прежняго міра, народилось цѣлое міросозерцаніе, купленное за свой собственный счетъ и цѣною личныхъ усилій. Что оно многимъ понравилось, многихъ увлекло, что оно овладѣло извѣстною частью нашей молодежи—съ этимъ я готовъ согласиться. Но все это не свое, чужое, взятое на прокатъ. Напрасно стали бы мы искать какого-нибудь болѣе или менѣе выдающагося выразителя этого теченія общественной мысли среди молодаго поколѣнія. Молодое поколѣніе не только не прибавило ни одной черточки къ тому, что высказано гр. Толстымъ и Кавелинымъ, но даже не нашлось ни одного молодаго литературнаго дарованія, которое бы полно и всесторонне изло-

жило идеалы индивидуальной нравственности. Если бы точно въ груди молодаго поколѣнія горѣла искра святаго огня, если бы оно точно было рельефно окрашено въ какомъ бы то ни было смыслѣ, неужели до сихъ поръ мы не имѣли бы молодыхъ застрѣльщиковъ новыхъ идей и продолжали бы тащиться на буксирѣ у стариковъ? Прежде, когда всякое новое поколѣніе представляло и олицетворяло въ себѣ извѣстную стадію общественнаго самосознанія, въ центрѣ пробуждающейся и пробудившейся мысли стоялъ всегда какой-нибудь модный апостолъ, кумиръ или кумирчикъ, всегда молодой, новый, всегда свой, отрекшійся отъ прошлаго, или вѣрнѣе, даже его не имѣвшій. Таковъ былъ Бѣлинскій, Грановскій, позднѣе Добролюбовъ и enfant terrible Писаревъ. Я не говорю, хорошо-ли это было или дурно; я хочу только указать и оттѣнить то обстоятельство, что молодое поколѣніе, органически что-нибудь выработавшее или выработывающее, непремѣнно выдвинетъ своихъ работниковъ, своихъ піонеровъ мысли и идеаловъ. Молодости, если только молодость знаетъ, чего она хочетъ и къ чему стремится, свойственна «дѣтская рѣзвость», съ которою она колеблетъ треножники прежнихъ идеаловъ и плюетъ на потухающіе алтари, и эта рѣзвость большею частью именно такова, что дѣлаетъ совершенно непригодными прежнихъ борцовъ и искателей правды.

Однако, въ нашемъ поколѣніи мы видимъ совершенно иное. Что же это означаетъ? Скудость творческихъ силъ въ молодомъ поколѣніи? Отчасти конечно, и это, но главнымъ образомъ оно указываетъ на то, что не наше теченіе, не нашъ лозунгъ, не наша кровь, не наше сердце... Жили да были, да и теперь живутъ, люди иного закала, иныхъ преданій, которые многаго хотѣли и многое выносили въ сердцѣ и умѣ, и когда они, подъ конецъ дней, извѣрившись въ спасительность аптечныхъ идеаловъ и рецептурной соціологіи, совлекли съ себя ветхаго человѣка, сожгли то, чему поклонялись и поклонились тому, что сжигали, явились мы, люди безъ всякаго закала и безъ всякихъ преданій, люди соннаго ума и соннаго сердца, и мимоходомъ подхватили новое слово и чужое одѣянье съ барскаго плеча... Такъ въ этомъ-ли наша заслуга?

Что это именно такъ, а не иначе, доказывается лучше всего отсутствіемъ какой бы то ни было практики въ области «самоусовершенствованія нравственной личности». Едва-ли можно говорить въ серьезъ о двухъ-трехъ хорошихъ молодыхъ людяхъ, какъ о практикѣ. Два-три молодыхъ человѣка, дѣйствительно хорошихъ, сердечныхъ, добрыхъ и отзывчивыхъ, всегда найдутся, какъ всегда рядомъ съ ними найдется и цѣлый букетъ «тифлисскихъ дѣвицъ», чающихъ движенія воды, но совершенно безтолковыхъ, расте-

рянныхъ и безпомощныхъ. Это въ порядкѣ вещей. До того, какъ появилась «толстовская вѣра», существовала вѣра Достоевскаго и существовали братья Карамазовы; однако, было бы историческимъ абсурдомъ утверждать, что мистицизмъ и старецъ Зосима были практическимъ дѣломъ, на которомъ воспиталось молодое поколѣніе. Съ другой стороны, разумѣется, подъ практикою нельзя понимать полнаго тождества фразы и дѣла, совершенно неосуществимаго и невѣроятнаго. Достаточно, по крайней мѣрѣ, для цѣлей обобщенія, чтобы фраза давала тонъ жизни, и чтобы существовали какіе-нибудь недалекіе практическіе идеалы. Хотѣлось бы мнѣ знать, въ чемъ именно нравственное усовершенствованіе измѣнило жизнь молодаго поколѣнія? Никогда, говорю это съ увѣренностью, не было такого полнаго разцвѣта карьеризма, никогда не болталось такъ много совершенно лишнихъ, ненужныхъ людей, никогда интеллигентъ, не смотря на всю свою «вѣру», такъ безтолково не зналъ, за что взяться, какъ именно теперь. Прежде было совсѣмъ не то. Когда молодое поколѣніе имѣло дѣйствительное credo — пусть нелѣпое, глупое, неестественно реальное или неестественно дикое—все равно, оно все же его обнаруживало. Если оно увлекалось ретортами и какою-либо соціологическою химіею, оно во всякомъ случаѣ неустанно возилось съ химическими реакціями; если оно

вѣрило въ политику, оно ее дѣлало; если оно облюбовало идею о спасительности физическаго труда, оно переплетало какія-то брошюры, шило на швейныхъ машинахъ, поступало въ трубочисты, чудачествовало, дурило, но оно проявляло себя въ сферѣ практики. Нынѣшній молодой человѣкъ, въ видѣ общаго правила, ждетъ не дождется казеннаго мѣста. Неужели казенное мѣсто вызывается идеею о нравственномъ самоусовершенствованіи и о тщетѣ культурныхъ благъ?

Вся бѣда въ томъ, что идея моральной личности, несомнѣнно здоровая и спасительная во многихъ отношеніяхъ, только скользнула по молодому поколѣнію. Въ глубь она не могла проникнуть, потому что въ нынѣшней молодежи, въ сущности, и глубины никакой не имѣется. А если, сравнительно съ другими вліяніями и теченіями, она выразилась гораздо сильнѣе, то на это существуютъ особыя, внутреннія причины, о которыхъ—ниже.

* * *

Проповѣдь нравственнаго усовершенствованія и «моральной личности» нашла себѣ въ нашемъ поколѣніи безспорно благодарную почву. Для «натуры» это, въ сущности, откровеніе. Натура привыкла думать, какъ думалъ Фихте, что міръ распадается на

двѣ половинки: *я* и *не я*. Все преисполнено глубочайшаго значенія, когда оно происходитъ въ нѣдрахъ «я», и все мелко, ничтожно и проблематично само по себѣ, разъ оно всецѣло находится на сторонѣ «не я», и къ «я» особеннаго касательства не имѣетъ. «Я» — это величайшая святыня; «я» построено изъ какихъ-то удивительно тонкихъ и субтильныхъ элементовъ, съ которыми обращаться нужно очень осторожно: напримѣръ, они не выносятъ никакой прочной системы, никакого чернаго и поденнаго труда, ничего обязательнаго и необходимаго. И такъ обстояло во всемъ. Среднюю школу проходили такъ себѣ, спустя рукава и съ вынужденнымъ видомъ, потому что это — «не я»; университетъ посѣщали для формы и для диплома, не придавая никакого значенія профессорской наукѣ, потому что университетъ — тоже «не я». Наконецъ, вступивъ въ жизнь и пристроившись къ хлѣбному мѣсту, мы продолжали сохранять полубрезгливое, сухое отношеніе къ дѣлу, которое насъ кормило, одѣвало и поило, потому что и оно ничто иное, какъ вынужденная стадія жизни, необходимое «не я», но далеко не — «я». «Я» — нѣчто неуловимое, самодовлѣющее, почерпающее все изъ себя для себя; что оно такое — натура не знаетъ, она знаетъ только, что въ немъ слѣдуетъ постоянно копаться и вѣчно его перетряхивать.

Разумѣется, лучшей теоріи, нежели теорія «моральной личности», для натуры не придумаешь. Моральный кейфъ, какъ конечная цѣль жизни! Пластическая любовь къ ближнему, въ видахъ самоуслажденія! Что можетъ быть выше, полнѣе, желательнѣе? Теорія труда, работы, борьбы требуетъ громадной энергіи и громадной любви къ глупому «не я», неизвѣстно для чего существующему; она требуетъ, кромѣ того, умѣнья справиться съ многообразіемъ жизни и овладѣть имъ,—требуетъ, стало быть, точнаго, яснаго и до мелочей опредѣленнаго отчета въ томъ, чего желать и къ чему стремиться; иначе говоря, требуетъ прочныхъ идеаловъ и не только общественныхъ, но и личныхъ. Ну, а «моральная личность», чего она требуетъ? Испытаній? Ни мало, потому что она предполагаетъ уже упрощенность душевной механики и культурныхъ вкусовъ. Знаній, науки? Еще того менѣе, потому что и то, и другое въ глазахъ «моральной личности» есть совершенно лишній балластъ, мѣшающій практикѣ первобытныхъ междучеловѣческихъ отношеній? Труда? Можетъ быть, но такого труда, который всецѣло есть счастье все того же вездѣсущаго, всеобъемлющаго и всенаполняющаго «я».

Здѣсь, строго говоря, исчезаетъ всякая черта между такою относительно грубою теоріею, какъ фейербаховскій эгоизмъ, и раффинированною теоріею

«моральной личности». Если, съ точки зрѣнія философскаго эгоизма, счастье заключается въ томъ, чтобы всякій жилъ согласно съ реальными предписаніями природы, повинуясь инстинктивному влеченію къ личному благу, то съ точки зрѣнія «моральной личности», счастье и индивидуальное, и общественное сводится къ повиновенію инстинкту морали и нравственнаго самоусовершенствованія. Но сущность и здѣсь, и тамъ остается одна и та же: живи самъ за себя и за свой счетъ, потому что счастье всѣхъ слагается изъ счастья единицъ, а не наоборотъ. Къ сожалѣнію, я не могу уклоняться въ сторону отъ темы, а можно было бы изобразить весьма любопытную философскую схему, доказывающую, какъ собственно не далеко ушла «вѣра» послѣдняго времени отъ конечнаго пункта философскаго эгоизма. Но для моихъ цѣлей, впрочемъ, вполнѣ достаточно и того, что я указалъ на родство новой «вѣры» съ тѣмъ осадкомъ эгоизма, который наслоился на душѣ молодаго поколѣнія. Это была готовая, заманчивая теорія, не требовавшая почти никакого примѣненія со стороны ея прозелитовъ. Если мы возьмемъ другія частности новой вѣры, то мы опять-таки убѣдимся, что онѣ приходились совершенно по складу молодаго поколѣнія. Походъ, напримѣръ, противъ науки во имя нравственности могъ встрѣтить только сочувственный откликъ въ тѣхъ умахъ, кото-

рые всегда утверждали, что науки строгой, систематической и обязательной не нужно, а нужны-де только безусловныя теоріи собственной геніальности. Разумѣется, было бы грѣшно, если бы невѣжественные интеллигенты, ничему толкомъ не научившіеся и облѣнившіеся до послѣдней возможности, не воспользовались такимъ прекраснымъ оружіемъ, какъ презрѣніе «моральной личности» къ всемогуществу разума и знаній. Долой науку! кричало молодое невѣжество съ такимъ воодушевленіемъ, точно оно раньше изнемогало подъ ея бременемъ. Будемъ жить въ простотѣ ума и души! подхватывала голая культурная рать съ такимъ видомъ, какъ будто она раньше жила въ хоромахъ мысли и ѣла не иначе, какъ на научномъ серебрѣ. Конечно, это была грубая поддѣлка и слишкомъ очевидное, рабье подражаніе.

Далѣе. Что такое «непротивленіе злу»? Мнѣ кажется, что въ своей основѣ «непротивленіе злу» есть симптомъ безсилія, все равно, вольнаго или невольнаго. Здѣсь не мѣсто разъяснять, какимъ путемъ пришелъ отецъ новой вѣры, графъ Толстой, къ заключенію, что злу нужно покоряться, а не возставать противъ него. Это—вопросъ особый; но несомнѣнно, что для поколѣнія умственныхъ и нравственныхъ увальней «непротивленіе злу» есть секретъ его существованія. Увалень прежде всего цѣнитъ покой, и всѣмъ

своимъ существомъ протестуетъ противъ борьбы. Разумѣется, онъ не дошелъ еще до той степени ожирѣнія, когда утрачивается сознаніе того, что есть добро, и что есть зло, но фактически онъ уже лишенъ возможности распоряжаться запасомъ своихъ дѣйствующихъ силъ; все, на что онъ способенъ, это—съ видомъ фотографа стоять у отверстія житейской камеръ-обскуры и наблюдать человѣческую траги-комедію. А затѣмъ, все—трынъ-трава... Пусть человѣческіе «документы» исходятъ кровью, пусть, наоборотъ, радуются и ликуютъ,—положеніе фотографа, уставившагося въ окошечко камеръ-обскуры, нисколько не измѣняется. На языкѣ практиковъ это называется «моя хата съ краю», на языкѣ философской вѣры это выходитъ какъ будто красивѣе и именуется «непротивленіемъ злу». Но логически, это—одно и то же.

И однако, не смотря на полную подготовленность молодаго поколѣнія воспринять теорію «моральной личности», не смотря на то, что во многомъ оно уже, съ рѣзвостью невзнузданныхъ мыслителей, предвосходило и самую теорію, посмотрите, какъ ничтожны, ограничены и мелки результаты того теченія, о которомъ, по словамъ моего оппонента, слѣдуетъ воскликнуть: «не уявися, что будетъ!» Я былъ въ университетѣ въ то самое время, когда графъ Толстой находился въ зенитѣ своего вліянія на молодые умы;

по крайней мѣрѣ, тогда его читали и изучали съ наибольшимъ усердіемъ. Но если говорить по сущей справедливости, то пожалуй, трудно сказать, потому-ли читали его, что увлекались его теоріями и работали надъ собою, въ направленіи нравственнаго перерожденія, или потому, что откровенія были очень нечетко гектографированы и представляли соблазнъ запретнаго плода и нецензурныхъ идей. Это, знаете, ужасно пріятно, когда приходится передавать что-нибудь подъ полою, такъ, чтобы субъ-инспекторъ ничего не замѣтилъ; это щекочетъ нервы и создаетъ особую атмосферу заговора, въ которой дышется дѣтямъ съ большимъ удовольствіемъ... А искренніе, горячіе, преданные приверженцы, неужели ихъ не было?—спросите вы. Были; я самъ знавалъ нѣсколькихъ, хотя они не только не составляли кружка, но трактовали «моральную личность» каждый по своему и на свой собственный манеръ. «Чистыхъ толстовцевъ» было очень не много; можетъ быть два-три человѣка; большинство же состояло изъ обыкновенныхъ слабонервныхъ «нытиковъ» и кающихся грѣшниковъ, которыхъ всегда во всѣ времена, выбрасываетъ волна культурной жизни. Что касается «чистыхъ толстовцевъ», то по какому-то странному совпаденію, они всѣ были удивительно ограничены и бездарны, и напримѣръ, въ діалектическихъ спорахъ оказывались сущими младенцами.

Можетъ быть, впрочемъ, они не желали «сопротивляться злу», но это скорѣе—каламбуръ, нежели объясненіе страннаго совпаденія. Одинъ изъ извѣстныхъ мнѣ университетскихъ толстовцевъ точно ушелъ въ деревню къ отцу, гдѣ пашетъ наравнѣ съ мужиками и собираетъ грибы, которые и продаетъ на базарѣ; другой—женился и какъ поется «измѣнился»; третій не женился, но тоже измѣнился. Вотъ и все. «Неуявися, что будетъ!» Однако выходитъ, что ничего не будетъ. Прошло уже лѣтъ 5—6, какъ «моральная личность» утверждена на головокружительной высотѣ; за это время мы имѣемъ нѣсколько худосочныхъ единичныхъ фактовъ, и ни одного суммирующаго, такъ сказать, явленія, ни одного сколько-нибудь надежнаго прародителя будущей серіи обращеній въ новую вѣру. A priori, это немыслимо для такого тщедушнаго поколѣнія, какъ наше; a posteriori, этого нѣтъ на довольно порядочномъ протяженіи времени. Откуда же эти надежды и упованія?

«Неуявися, что будетъ»! Какая горькая иронія!

* * *

Итакъ, спросятъ меня,—новыя птицы не принесли съ собою новыхъ пѣсенъ? Да, мнѣ кажется, хотя я не знаю, удалось-ли мнѣ убѣдить въ этомъ всѣхъ читателей. Въ нашемъ общественномъ сознаніи крѣпко си-

дитъ какая-то абстрактная и туманная вѣра въ то, что молодежь постоянно должна изъ себя что нибудь вырабатывать, органически претворять въ себѣ историческія теченія общественной мысли, и доводить до логическихъ предѣловъ нарождающіяся идейныя формулы. Видѣть въ молодежи авангардъ общества, стало до нѣкоторой степени умственною потребностью, привычкою, унаслѣдованною отъ цѣлаго ряда «трудныхъ лѣтъ», когда всякая молодая глупость принималась за осуществленіе идеала, а всякое отступленіе отъ приличій—за протестъ противъ «существующаго порядка вещей». Разумѣется, отъ привычки трудно отказаться; трудно найдти въ себѣ столько рѣшимости чтобы сказать прямо: роль авангарда сыграна, теперь это быть можетъ, скорѣе тылъ, разрозненный, недисциплинированный, уставшій, утратившій и воинственность, и боевой характеръ, и спеціально промышляющій мародерствомъ...

Между тѣмъ, это такъ. Выше я постарался указать, какъ могъ, что новая вѣра, которую выставляютъ вѣрою молодаго поколѣнія, есть, въ сущности, вѣра отцовъ, слегка усвоенная и нисколько не затронутая самостоятельно. Я сдѣлалъ это отступленіе, главнымъ образомъ, не для того, чтобы нарисовать господствующія теченія въ современномъ молодомъ поколѣніи, которыхъ въ дѣйствительности нѣтъ вовсе,

а только чтобы показать, какъ призрачны упованія тѣхъ, кто по старой привычкѣ въ каждомъ новомъ поколѣніи ищетъ новыхъ идеаловъ. Подъ рукою у меня имѣется блестящее подтвержденіе моей мысли. Это—книжка анонимнаго автора, очевидно студента, вышедшая въ Москвѣ, въ концѣ прошлаго, 1887 года, и озаглавленная «Письма о современной молодежи и направленіяхъ общественной мысли». Въ печати книжка прошла почти совершенно незамѣченною, если не считать восторженной апологіи со стороны «Русскаго Дѣла», сотрудникомъ котораго авторъ состоялъ, и въ которомъ, въ разное время, были напечатаны отрывки писемъ. Авторъ—чистокровный славянофилъ; по его мнѣнію, нынѣшнее молодое поколѣніе, въ лучшей своей части, проникнутой стремленіемъ къ идеалу, составлено сплошь изъ ярыхъ славянофиловъ, учениковъ Ивана Кирѣевскаго. Что это вздоръ большаго калибра—едва-ли нужно доказывать, но характерно то упорство, съ которымъ разные представители старыхъ теорій тянутъ въ свою сторону молодое поколѣніе. Для г. Юзова, напримѣръ, съ его народничествомъ, несомнѣнно, что молодое поколѣніе есть народническое по преимуществу, и превыше всего чтитъ на свѣтѣ его юзовскую догму и его юзовскіе идеалы. Для г. Гл. Успенскаго также несомнѣнно, хотя это прямо не высказывается, что лучшая «мыслящая» часть молодежи

спитъ не иначе, какъ съ земско-статистическими сборниками подъ подушкою. Шагъ впередъ — и мы наткнемся на г. Оболенскаго, который твердо вѣритъ, что печатавшіяся на страницахъ его журнала проповѣди гр. Толстаго и его собственныя умствованія составляютъ исключительную духовную пищу молодыхъ головъ. Наконецъ, еще шагъ, и передъ нами горячій поклонникъ Хомякова и Аксакова, утверждающій не съ меньшею силою убѣжденія, что всѣ эти догмы, теоріи и проповѣди — вздоръ, а что молодежь бьетъ челомъ старымъ окаменѣлостямъ славянофильства. Нужно-ли лучшее доказательство идейнаго безвременья? Я представилъ четыре версіи на счетъ идеаловъ молодаго поколѣнія; я бы могъ представить ихъ гораздо больше; я бы могъ, если бы на то пошло, дать коллекцію такихъ взаимоисключающихъ точекъ зрѣнія, которыя однимъ своимъ существованіемъ разъясняютъ самымъ утвердительнымъ образомъ, на какомъ зыбучемъ пескѣ построены всѣ мудрствованія о новыхъ пѣсняхъ новаго поколѣнія. Но и сказаннаго довольно. Очевидно, мы присутствуемъ при дѣлежѣ шкуры не убитаго еще медвѣдя, и это было бы очень забавно, если бы дѣло шло не о животрепещущей современности.

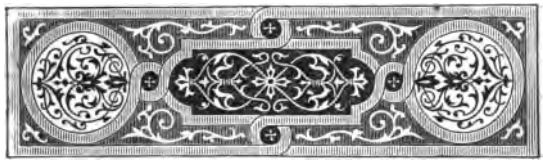
Впрочемъ, на книжкѣ московскаго студента можно остановиться подольше. Она любопытна именно какъ образчикъ полнаго безсилія, полной безпомощности

молодаго поколѣнія, разъ вопросъ объ идеалахъ ставится ребромъ и безъ обиняковъ. Вся книжка представляетъ рядъ перефразированныхъ выдержекъ изъ статей Хомякова и Аксакова, кое-какъ пригнанныхъ къ современности. Это, конечно, не только простительно, но и похвально, потому что лучше и сильнѣе Хомякова и Аксакова никакой сотрудникъ «Русскаго Дѣла» не скажетъ славянофильскаго слова, будь онъ хотя семи пядей во лбу; но странно выдавать повтореніе задовъ за новую вѣру. Жизнь вѣдь тоже на мѣстѣ не стоитъ, а движется и развивается. Жизнь, напримѣръ, успѣла выяснить, что община и христіанская личность, развившая свою индивидуальность до высокой степени—вещи какъ будто не совсѣмъ совмѣстимыя; она выяснила далѣе, что если спасать общину отъ разложенія, то прежде чѣмъ развивать моральную личность камаринскаго мужика, не мѣшало бы, по примѣру графа Толстого, привести сначала въ порядокъ его разсыпавшуюся печку и сшить ему пару сапоговъ; она указала съ достаточною убѣдительностью, что никакія силы не удержатъ общину отъ распаденія, если вывороченные пни будутъ по прежнему замѣнять глубокій и усовершенствованный плугъ. Корифеи славянофильства, не имѣвшіе передъ глазами свободной крестьянской общины, а фантазировавшіе надъ мнимыми величинами, имѣли полное право не за-

мѣчать чувствительныхъ прорѣхъ въ своемъ облаченьи. Но если бы новое поколѣніе приняло славянофильскую вѣру, если бы оно, извѣрившись во всѣ прежніе рецепты русскихъ идеаловъ, повернуло бы назадъ, къ «Семейной хроникѣ» Аксаковыхъ, Хомяковыхъ и Самариныхъ—неужели оно не съумѣло бы влить въ старые мѣха побольше соковъ современности? Это невѣроятно для цѣлаго поколѣнія; это невѣроятно даже и для группы, если бы мы не знали напередъ, что группа, за-одно съ поколѣніемъ, страдаетъ тѣмъ же недугомъ идейнаго худосочія.

Въ сущности, такимъ образомъ, всѣ правы и никто не правъ, потому что трудно усмотрѣть въ современномъ молодомъ поколѣніи какую нибудь опредѣленную окраску, какіе нибудь установленные идеалы; оно такъ же чуждо славянофильства, какъ и западничества; такъ же далеко отъ идеаловъ «моральной личности», какъ и отъ преклоненія передъ научно-соціологическимъ раемъ. Оно разъединено, разрознено, разбито на множество отдѣльныхъ толковъ, которыхъ почти столько же, сколько въ немъ считается единицъ: quot capita, tot mentes. Послѣдователи и поклонники найдутся у всѣхъ, кто только не говоритъ о современной молодежи: они найдутся у г. Юзова, у Гл. Успенскаго, у Достоевскаго, у Толстого, у анонимнаго автора, у людей, возносящихъ науку и у людей,

втаптывающихъ ее въ грязь, у людей, близкихъ къ аскетизму, и у представителей пьянаго разгула. Я знаю молодыхъ людей, увлекшихся до самозабвенія книгами Ману и буддійскою моралью; ихъ будетъ, пожалуй, чуточку меньше, чѣмъ чистыхъ послѣдователей г. Юзова; но, конечно, не они даютъ тонъ молодому поколѣнію... Да и вообще, нѣтъ этого тона. Нынѣшній молодой человѣкъ сотворилъ себѣ, какъ говорится, «келью подъ елью», и въ этой полной изолированности и отчужденности проходятъ его лучшіе годы. Можетъ быть, это протестъ противъ былой стадности, въ которой костенѣла молодежь; можетъ быть, здѣсь сказываются долгіе годы рабьяго трепетанія передъ «передовыми» авторитетами. Не знаю. Ясно только, что работаетъ и главенствуетъ натура, и ничего больше... Таковъ переживаемый моментъ.



IV.

Есть одно опредѣленіе, которое бы весьма годилось для характеристики молодаго поколѣнія, если бы только не было такъ захватано. Это — «лишніе люди». Кличка эта существуетъ уже очень давно, но подъ нею разумѣлось нѣчто совершенно отличное отъ того типа лишнихъ людей, которыми нынче кишитъ молодежь. Тѣ лишніе люди представляли смѣсь кающагося романтизма съ философскимъ пессимизмомъ. Ихъ существованіе совершенно естественно вытекало изъ общаго порядка вещей: дѣла подходящаго они не знали, бороться за существованіе, въ прямомъ и непосредственномъ значеніи этого слова, имъ было не зачѣмъ... Вся жизнь, по причинамъ отъ нихъ независящимъ, уходила на умствованія и отвлеченности, а между тѣмъ сердце билось горячо и тревожно... На этой почвѣ возникалъ сначала всеобъемлющій Weltschmerz, затѣмъ ѣдкій пессимизмъ и, наконецъ, выростало от-

равленное горечью сознаніе совершенной пустопорожности и того, и другаго. Завершивъ кругъ своего самоотрицанія, лишній человѣкъ былаго времени приходилъ окончательно къ заключенію, что въ этой толпѣ, живущей одними инстинктами, на этомъ торжищѣ, волнуемомъ какими-то непонятными для него и совершенно мизерными страстями, среди этой сутолоки мелкихъ людишекъ, ничтожныхъ интересовъ и пустаго тщеславія, онъ, человѣкъ съ міровымъ сердцемъ и міровыми идеями, представляетъ явленіе не только безполезное и ненужное, но и прямо нелѣпое, — то, что Гоголь такъ мѣтко обозвалъ «прорѣхою въ человѣчествѣ». Во всякомъ случаѣ, въ лишнемъ человѣкѣ не было ни малѣйшей фальши. Лишній человѣкъ такъ и бродилъ всю жизнь лишнимъ человѣкомъ: онъ не брался лицемѣрно за какое-либо дѣло, не вступалъ въ компромиссы съ совѣстью, не считалъ своего лишняго существованія нужнымъ на что-либо высшее, еще не сознанное, но уже зародившееся. Лишній человѣкъ зналъ себѣ цѣну, и если коптилъ небо, то прекрасно понималъ, что на большее его не хватитъ, а пожалуй, въ большемъ и нѣтъ ни малѣйшей надобности.

Чувство отчужденности и ощущеніе ненужности въ современномъ молодомъ человѣкѣ, запечатлѣны совершенно другимъ характеромъ. Онъ ненуженъ, лишенъ

не самъ по себѣ, а какъ послѣдняя спица житейской колесницы, къ которой онъ пригвожденъ, точно плѣнный рабъ временъ римскихъ тріумфаторовъ. Онъ не только не желаетъ, какъ былой романтикъ, примиренія съ состояніемъ спокойнаго безразличія, но напротивъ, упорно борется за каждую пядь существованія и старается во что бы то ни стало найти какую нибудь точку опоры, которая бы положила конецъ его ненужности. И разумѣется, онъ ея не находитъ.

За немногими исключеніями, это — черта, общая всему поколѣнію. Молодой человѣкъ пристраивается къ мѣстамъ, не чувствуя къ дѣлу ни малѣйшей склонности. Онъ-ли придуманъ для дѣла, или дѣло приставлено къ нему? Рѣшительно неизвѣстно, но несомнѣнно, что и дѣло для него въ тягость, да и онъ для дѣла глубоко безполезенъ. Формально онъ, конечно, связанъ своими обязанностями, но онъ не вноситъ въ нихъ, и даже не старается внести никакого внутренняго содержанія. Чѣмъ бы онъ не занимался, онъ остается неизмѣнно самимъ собою, и возится съ дѣломъ, какъ съ неизбѣжнымъ зломъ. Это замѣчается не только въ такихъ сравнительно мертвыхъ царствахъ, какъ канцеляріи разнаго рода и типа, но и въ такъ-называемыхъ либеральныхъ профессіяхъ, гдѣ личному опредѣленію и почину предоставлено гораздо больше простора. Ему нужно отсрочить, отбарабанить, отси-

дѣть столько-то и столько-то; надъ чѣмъ бы ни сидѣть, что бы ни строчить, какъ бы ни барабанить — это положительно все равно: важенъ урокъ, который слѣдуетъ сдать къ сроку, потому что, въ противномъ случаѣ, не хватитъ на «boire et manger», а безъ этого невозможно это лишнее, совершенно ненужное существованіе, съ которымъ, однако, не хочется покончить. Это не позёрство; это дѣйствительно общій недугъ, который нѣдрится глубоко въ современномъ молодомъ человѣкѣ. Трудъ, работа, профессія для него дѣйствительно неволя, и когда онъ съ мучительнымъ вздохомъ произноситъ: «ахъ, каторжная жизнь!», онъ правъ, глубоко правъ. Говорятъ, для настоящихъ каторжниковъ нѣтъ болѣе мучительнаго наказанія, какъ обязанность вертѣть мельничный жерновъ, оторванный отъ прочихъ частей мельничнаго механизма, или свивать, а затѣмъ развивать толстые канаты. Это — понятно; противенъ не трудъ, тяжело не физическое изможденіе, — нѣтъ, возмутительность наказанія лежитъ въ безцѣльности труда, въ этомъ своего рода физическомъ развратѣ, не пригодномъ ни для какихъ цѣлей, кромѣ цѣлей мучительства и терзанія. Чужачество и никодимство — такая же каторга. Болтаться зря, зря работать, чувствовать, что вся энергія уходитъ на чуждое, непонятное дѣло, тогда какъ духъ живетъ совершенно самостоятельно и тоскуетъ въ без-

предѣльномъ пространствѣ—вотъ что и омерзительно, и обидно... Въ этомъ отношеніи, карьеристы поставлены въ несравненно лучшее положеніе; они по крайней мѣрѣ знаютъ, чего хотятъ, у нихъ есть опредѣленная цѣль,—пусть не выше булавочной головки, но во всякомъ случаѣ она приковываетъ ихъ къ дѣлу тысячью невидимыхъ цѣпей. Сначала честолюбіе, затѣмъ мелкое тщеславіе, наконецъ, привычка,—все это создаетъ прочную школу труда, въ которомъ незамѣтно проходитъ жизнь. Гораздо хуже тысячамъ неудовлетворенныхъ, лишнихъ людей, взыскующихъ града и его не находящихъ.

*
* *

Почему возникло чужачество, и почему оно проявилось въ нынѣшнемъ поколѣніи съ такою силою, я думаю, понять не трудно. Это обычная исторія погибшихъ мечтаній. «Человѣкъ возмнилъ, якобы у него изо лба фиговое дерево произрастаетъ»; изъ этой чрезвычайной мнительности и чертовскаго самомнѣнія послѣдовательно вытекаетъ сначала презрѣніе къ идеаламъ массовой личности и нормальному труду средняго человѣка, затѣмъ поклоненіе своему «я» и тому «святая святыхъ», гдѣ это «я» помѣщается, и наконецъ, полный хаосъ внутренняго міра. Ощущенія, желанія, порывы, мечты, надежды — все

это сбивается въ кучу, въ которой рѣшительно ничего нельзя разобрать. А между тѣмъ, жизнь даетъ уже себя чувствовать: никакого фиговаго дерева во лбу не оказывается, лобъ самый ординарный, такой, какой бываетъ у тысячи. Остается жить, какъ люди живутъ; принизить себя до уровня сѣраго дѣла, обходиться при помощи лебеды и мякины, сжившись и сроднившись съ мечтою о плодахъ фиговаго дерева. И вотъ, начинается мучительно однообразная и ужасная полоса приспособленія «отношеній внутреннихъ къ отношеніямъ внѣшнимъ». Эксъ-обладатель фиговаго дерева толкается въ канцеляріи, переписываетъ какія то бумаги, и чувствуетъ, что все это не то, не настоящее, что не объ этомъ онъ думалъ, мечталъ въ тѣ розовые годы, когда самъ себѣ выдавалъ аттестатъ на геніальность; онъ разглагольствуетъ на судѣ, кого то защищаетъ, кого то распекаетъ, и опять таки съ холоднымъ ужасомъ въ душѣ сознается, что эти разглагольствованія сами по себѣ, а онъ тоже самъ по себѣ, и нѣтъ живой органической нити, которая бы связывала его съ профессіональною болтовнею; онъ пишетъ передовыя статьи, фельетоны, романы, хроники съ остроуміемъ и хроники безъ остроумія, и продолжаетъ выносить на себѣ подавляющій гнетъ нравственнаго одиночества и идейной безтолковщины.

Я думаю, поэтому, можно смѣло замѣнить выраженіе «taedium vitae» словами «taedium laboris». Въ сущности, поперегъ горла становится не жизнь, не существованіе, во всестороннемъ значеніи, а только, часть его, хотя и очень значительная, — трудъ изъ подъ палки или отъ нечего дѣлать. Изо дня въ день работать надъ постылымъ дѣломъ, не находя въ трудѣ никакого удовлетворенія, не чувствуя себя бодрымъ и сильнымъ отъ союза съ трудомъ — это нечеловѣческая пытка. Можно отрѣшиться отъ страстей, влеченій, но нельзя уйти изъ обычной повседневной сферы. Да и куда уйти? Въ сферу другаго труда, который будетъ также постылъ? Въ сферу мысли, составляющей удѣлъ не многихъ? Въ сферу растраченныхъ идеаловъ и погибшихъ мечтаній? Увы, выхода не существуетъ: ненужный человѣкъ нигдѣ не будетъ у мѣста. И вся горькая иронія его горькаго существованія состоитъ въ томъ, что не смотря на это, онъ все таки обязанъ работать локтями за мѣсто и за право труда...

* * *

До сихъ поръ я говорилъ о лишнихъ людяхъ. Но кромѣ лишнихъ людей, относящихся къ области нравственной патологіи, есть еще лишніе рты, которые относятся къ области патологіи экономической. Трудно

сказать, что̀ хуже и что̀ лучше: лишній человѣкъ, заваленный тягостнымъ трудомъ, или лишній ротъ, совершенно праздный и вѣчно голодный. Одинъ, надо думать, стоитъ другаго, потому что оба, въ сущности, представляютъ двѣ стороны одной и той же несклад-ицы интеллигентнаго существованія.

Лишній ротъ — всецѣло продуктъ нашего поколѣнія. Его нѣтъ не только на всемъ протяженіи нашей дореформенной культурности, но и въ ближайшихъ къ нашему поколѣнію 60-хъ и 70-хъ годахъ. Почему его не знала старая дворянская Россія, — я думаю, незачѣмъ объяснять. «Пошехонская старина» не давала мѣста никакимъ сомнѣніямъ, колебаніямъ или потрясеніямъ. Крѣпостной строй труда упрощалъ экономическія отношенія до нельзя. На всѣхъ ступеняхъ общественной лѣстницы (ихъ было, впрочемъ, довольно мало) совершался правильный «обмѣнъ веществъ»: подпочвенные слои питали надпочвенные, которые, въ свою очередь, выращивали растительность верхнихъ слоевъ. Это создавало такой прочный экономическій порядокъ, что лишній ротъ былъ совершенно немыслимъ въ культурныхъ сферахъ. Позднѣе, въ 60-хъ годахъ, монополія культурныхъ классовъ была подорвана; вверхъ потянулся интеллигентный разночинецъ, совершенно неизвѣстный въ былое время, тогда какъ въ настоящее — онъ составляетъ главные кадры ин-

теллигенціи и безъ сомнѣнія, удержитъ за собою свое положеніе въ будущемъ, какъ бы затруднительно по временамъ это для него ни было. Впрочемъ, рано или поздно, кругъ исторической закрѣпощенности долженъ былъ разомкнуться; все, въ чемъ можно упрекнуть шестидесятые годы, это — извѣстная горячность и поспѣшность, съ которыми они старались отдѣлаться отъ прошлаго. Событія, такъ сказать, форсировались, и въ этой форсированности лежитъ главная причина современной неурядицы. На первыхъ порахъ наплывъ разночинца въ культурные классы не вызывалъ никакихъ особенныхъ осложненій. Время было горячее, работы предстояло множество, сфера труда сразу расширилась до невѣроятныхъ, съ дореформенной точки зрѣнія, размѣровъ. Не говоря уже о громадномъ запросѣ на государственную и земскую службу, какой притокъ свѣжихъ силъ нуженъ былъ для множества новыхъ, только что пародившихся потребностей! Появились цѣлыя серіи разновидностей интеллигентнаго труда; хорошіе работники цѣнились на вѣсъ золота. Громадныя состоянія наживались въ два-три года, хотя и спускались, положимъ, также быстро... Имена извѣстныхъ адвокатовъ, извѣстныхъ строителей, финансовыхъ воротилъ, журнальныхъ издателей, постигшихъ сущность «момента», гремѣли не только въ обособленныхъ кружкахъ и общественномъ форумѣ, но

и непосредственно на денежномъ рынкѣ. Это былъ, такимъ образомъ, двойной капиталъ, невещественный, не матеріальный, а денежный, въ самомъ дословномъ и буквальномъ значеніи.

Разумѣется, разночинца потянуло въ культурныя сферы съ страшною силою. Разъ данный импульсъ не только не ослабѣвалъ съ теченіемъ времени, но наоборотъ, еще усиливался. Уступая сначала реальнымъ требованіямъ дѣйствительной жизни, темные общественные классы затѣмъ повиновались уже не экономическому спросу, а традиціи, рутинѣ, наслѣдственной плотоядности инстинктовъ. А между тѣмъ, розмахъ общественной жизни сокращался все больше и больше; моментъ высшаго напряженія прошелъ, чувствовалась всеобщая усталость, всеобщая потребность передохнуть и успокоиться... И вотъ, тогда наступилъ кризисъ экономическаго существованія культурнаго человѣка, и на сцену появился лишній ротъ, не знающій куда себя приткнуть, трагически безпомощный и жалкій до комизма.

О нищихъ студентахъ и интеллигентахъ много писали, иногда съ неподдѣльнымъ и искреннимъ состраданіемъ, хотя чаще съ точки зрѣнія фельетонной игривости и напускнаго бѣшенства. Но рѣдко кто сохранилъ благоразумное отношеніе къ вопросу и коснулся настоящихъ подлинныхъ корней явленія. Раз-

сматривать лишній ротъ единственно какъ продуктъ культурнаго перепроизводства, что-ли, едва-ли возможно. Культурное перепроизводство, какъ и перепроизводство всякаго рода, есть только одна изъ ближайшихъ и непосредственныхъ причинъ, далеко не исчерпывающая всего содержанія кризиса. Не въ томъ бѣда, что на лишній ротъ не хватило куска, а въ томъ, что лишній ротъ не способенъ къ его добыванію. Въ этомъ, главнымъ образомъ, заключается вся дикость и нелѣпость поголовнаго культурнаго движенія, котораго нехватаетъ даже на оплату цѣнности экономическаго существованія. На нѣтъ, какъ говорится, и суда нѣтъ. Если бы все дѣло ограничивалось тѣмъ, что, выражаясь юридическимъ терминомъ, конкурсная масса не соотвѣтствуетъ матеріально числу заявленныхъ претензій, это было бы сравнительно еще зло довольно безобидное. Извѣстно, что въ такихъ случаяхъ происходитъ извѣстная разверстка, хотя и не всегда, разумѣется, вполнѣ удовлетворяющая потребностямъ и претензіямъ истцовъ. Но въ сферѣ культурнаго конкурса дѣло обстоитъ невообразимо хуже, сквернѣе и безотраднѣе. Цѣнность труда, вообще, не только не понизилась, но наоборотъ, значительно повысилась; это нужно сказать въ одинаковой мѣрѣ, какъ относительно средней нормы заработка, такъ и относительно оплаты труда талантливаго и выдающагося. И въ то

же время, массовый уровень благосостоянія культурнаго человѣка понижается чуть-ли не съ каждымъ днемъ. Очевидно, центръ тяжести лежитъ именно въ полной непригодности лишняго рта къ борьбѣ за жизнь, за существованіе, за культурное благополучіе. Этой пригодности, впрочемъ, и не откуда было явиться. Что касается школьныхъ лѣтъ, то они какъ будто нарочно были разсчитаны на то, чтобы лишній ротъ вышелъ полнѣе, цѣльнѣе и законченнѣе. Испытанія и экономическія бѣдствія если гдѣ и имѣли мѣсто, то только на первыхъ порахъ университетской жизни. Обыкновенно, лишній ротъ не долго бился подъ гнетомъ нужды: на выручку являлась либо стипендія, либо нелѣпая quasi-педагогическая дѣятельность въ сферѣ репетиторства и уроковъ, которая чортъ знаетъ почему такъ утвердилась въ нашихъ общественныхъ нравахъ. Разумѣется, ни то, ни другое не могло дать лишнему рту какое-нибудь оружіе въ борьбѣ за культурное благополучіе. Если и случалось такъ, что какой-нибудь голышъ студентъ брался за грубое житейское дѣло, столбцы газетъ немедленно начинали пестрѣть гуманными призывами «да помогите же! Студентъ Иванъ Семинаровъ служитъ контролеромъ въ первомъ обществѣ конно-желѣзныхъ дорогъ!» Иванъ Семинаровъ контролеромъ оставался, понятно, недолго; являлись казенныя и частныя субсидіи, уроки, филант-

ропическіе литературные заказы, и прочая гадость, которая окончательно закрѣпляла г. Семинарова въ преувеличенномъ представленіи о своей культурной неприкосновенности и застрахованности... И опять ни малѣйшей выдержки, ни малѣйшей подготовленности встрѣтить жизнь во всеоружіи знанія, умѣлости и профессіи.

Само собою понятно, что еще лучше было бы, если бы не существовало вовсе культурныхъ нищихъ на студенческой скамьѣ. Но если жизнь уже такъ сложилась, неужели нужно было еще тамъ укрѣплять, развивать и поддерживать паразитство лишняго рта? Эта ошибка дорого стоила въ послѣдствіи.

* *
*

Итакъ, лишній ротъ закончилъ стадіи своего подготовительнаго существованія. Онъ прошелъ весь курсъ наукъ,—прошелъ, надобно замѣтить, съ большимъ трудомъ и неимовѣрными усиліями, потому что Господь не наградилъ его ни особенными дарованіями, ни особенною быстротою ума и соображенія. Нерѣдко, въ теченіи курса, онъ чувствовалъ, что изнемогаетъ подъ бременемъ всей этой непродуманной науки, которую онъ рѣшительно не въ состояніи осилить и органически втиснуть въ рамки своего міросозерцанія; но онъ все-таки продолжалъ идти упорно къ цѣли,

вѣрнѣе—даже не къ цѣли, какъ къ разумному представленію, а къ какой-то механической точкѣ будущаго, къ какой-то формальной разграничительной чертѣ. Безсознательный инстинктъ, сложившійся подъ вліяніемъ чисто хлѣбнаго и утилитарнаго взгляда общества на образованіе, подсказывалъ ему, что тамъ, за этою чертою, начинается совсѣмъ иная жизнь, жизнь дорвавшагося культурнаго человѣка, жизнь пріятнаго труда, пріятнаго гонорара и пріятнаго сознанія, что нелѣпое и безцѣльное толченіе воды въ ступѣ кому-то и для чего-то нужно, въ интересахъ общественнаго правопорядка и государственнаго существованія... Вожделѣнія лишняго рта, повторяю, носятъ совершенно безсознательный, интуитивный характеръ, и не только не осмыслены, но и не провѣрены хотя бы въ общихъ чертахъ. Въ этомъ культурномъ идеалѣ нѣтъ ни одного штриха, ни одного элемента, который логически былъ бы связанъ съ прошлымъ и настоящимъ. Почему вдругъ, внезапно, должна наступить пріятная жизнь, вмѣсто полуголоднаго существованія? Почему, получивъ какую-то бумажонку съ казенною печатью, онъ, лишній ротъ, питавшійся разною замаскированною филантропическою дрянью, безпомощный, безсильный, неуклюжій, ординарный,—становится сразу сильнымъ, могучимъ участникомъ жизненнаго пира, предъявляющимъ по праву претензіи

на лучшіе куски? Откуда эта увѣренность, этотъ тонъ, эти приподнятыя ожиданія? Если бы лишній ротъ на минуту задумался надъ балансомъ своихъ заслугъ, ему бы, разумѣется, стыдно стало за хлестаковскую развязность его притязаній. Но критическая мысль благополучно минуетъ опасное мѣсто. Къ чему сомнѣнія? Такъ всѣ думаютъ и надѣются; вся аудиторія насыщена мечтою о дорвавшемся культурномъ человѣкѣ, и самый жрецъ науки, этотъ великолѣпный, хотя преждевременно и облысѣвшій, брюнетистый приватъ-доцентъ, есть ничто иное, какъ блистательный экземпляръ дорвавшагося культурнаго аппетита. Чѣмъ онъ, лишній ротъ, хуже или лучше другихъ? Всѣ въ свое время прошли эту комнату съ деревянными скамейками и съ цифрою XI, и всѣ они нынче премило обставились въ комнатахъ безъ цифръ и съ хорошими мягкими креслами. Законъ исторической необходимости, который нужно принять къ свѣдѣнію, но обсуждать его совершенно безцѣльно.

Теперь представьте себѣ душевное состояніе лишняго рта, сдѣлавшагося уже обладателемъ драгоцѣнной бумажонки, на первыхъ порахъ его самостоятельнаго существованія. Разграничительная черта осталась позади, а между тѣмъ культурное благополучіе оказывается химерою. Онъ съ ужасомъ чувствуетъ, что даромъ ничего не дается, и что проценты приносятся

только на капиталъ. А у него ничего не имѣется за душою, рѣшительно ничего. Онъ привыкъ, чтобы его кормили, чтобы за ними ухаживали, чтобы въ немъ цѣнили какую-то культурную соль земли, какую-то надежду Россіи, авангардъ общества, застрѣльщика идеи, молодую силу. Если онъ и снисходилъ къ педагогическому бездѣльничеству или къ аккуратному полученію стипендій, такъ это именно только потому, что надежда Россіи должна же питаться, иначе она можетъ совсѣмъ отощать. Вообще же, онъ вовсе не предполагалъ, что для надежды Россіи существуютъ какія-то рыночныя цѣны, рыночные критеріи, колебанія спроса и предложенія и экономическіе законы. Странно, ужасно странно... Оказывается, что на всемъ готовомъ живутъ только немногіе изъ числа молодыхъ силъ, а прочіе обязаны сами изворачиваться. Какъ же быть? Что дѣлать?..

* * *

Какъ я еще раньше выразился, положеніе лишняго рта трагически безпомощно и до слезъ комично въ одно и тоже время. Въ его разочарованіи и недоумѣніи есть всего по немногу: немного наглости, немного институтской наивности, немного ребячества, оскорбленнаго самолюбія и голоднаго отчаянія. Мысль о томъ, что ему нужно добывать себѣ хлѣбъ

трудомъ, что ему приходится выдержать борьбу за существованіе наравнѣ со всякою некультурною челядью, отзывается въ его душѣ какимъ-то болѣзненнымъ стономъ. Неужели не найдется канцеляріи, гдѣ бы онъ могъ вкусить столь необходимый для него покой? Неужели онъ не получитъ нигдѣ даже мѣста помощника младшаго столоначальника? Онъ обѣгаетъ всѣ пороги; онъ по нѣсколько разъ обращается къ помощи своихъ бывшихъ профессоровъ и умоляетъ оказать ему протекцію; онъ стучится во всѣ парадные подъѣзды, затерянный въ несмѣтной толпѣ такихъ же лишнихъ ртовъ, «одержимыхъ холопскимъ недугомъ». Вы помните этотъ soit-disant знаменитый «подъѣздъ»? Одни напѣваютъ «трамъ-блямъ», другіе просители плачутъ. И вдругъ онъ, культурный ротъ, проглотившій тьму архивныхъ пандектовъ, Гуго Гроціевъ, Гоббесовъ и Іеринговъ, заплачетъ отъ нужды, отъ отчаянія, отъ голода? Какой скандалъ! какой позоръ!

Тогда начинаются тѣ удивительныя газетныя публикаціи, которыя служатъ весьма прекрасною темою для сентиментальныхъ фельетоновъ и гуманныхъ передовыхъ статей. «Кандидатъ университета съ золотою медалью ищетъ мѣста сторожа, дворника, кучера, библіотекаря, воспитателя, борейтора и т. д. Отличныя рекомендаціи». «Женщина-врачъ желаетъ по-

ступить въ кухарки. Практическое и теоретическое знакомство съ поваренною книгою г-жи Молоховецъ». «Причисленный къ министерству принимаетъ на себя переписку бумагъ по 10 коп. съ листа. Желалъ бы также управлять домомъ», и т. д., и т. д. Насколько такія объявленія искренни—сказать трудно. Весьма часто это—только диверсія, разсчитанная на то, что сентиментальный хроникеръ подхватитъ, а сентиментальный и мягкосердечный начальникъ департамента прочитаетъ, сыщетъ по адресу публиковавшагося и утирая слезу, скажетъ: «Ахъ, бѣдный молодой человѣкъ! бѣдный молодой человѣкъ! Вотъ въ Ферганской области открылось мѣсто старшаго писца въ уѣздномъ полицейскомъ управленіи... Поѣзжайте, что-ли, молодой человѣкъ... Не въ дворникахъ-же, въ самомъ дѣлѣ, вамъ служить!» Но несомнѣнно и то, что иногда такія публикаціи пускаются безъ всякой задней мысли, съ однимъ намѣреніемъ найти себѣ дѣйствительно хотя какой нибудь кусокъ хлѣба. Если хотите, авторы публикацій, помѣщая свои удивительныя предложенія труда очень правильно понимаютъ степень своей пригодности на практическое дѣло. Середины—нѣтъ и быть не можетъ. Весь строй ихъ предшествующей жизни, вся система ихъ воспитанія, обученія и образованія сложились такимъ образомъ, что лишнему рту предстоитъ одно изъ двухъ: или поступить на содер-

жаніе къ казнѣ и просиживать столоначальническіе стулья, или обратиться моментально въ первобытное состояніе, и сравняться, съ точки зрѣнія производительности труда съ сѣрымъ мужикомъ, если въ наличности имѣется мускульная сила, и въ лучшемъ случаѣ, съ полуграмотнымъ канцеляристомъ, если на выручку является красивый, крупный почеркъ. Вся культурная шелуха мигомъ слетаетъ, потому что имѣетъ смыслъ и значеніе лишь по стольку, по скольку связана съ канцелярскою и бюрократическою рутиною; внѣ ея—она нуль, ничто, безполезное украшеніе, безцѣльное приспособленіе, ненужный придатокъ. И бѣдному, податливому, безсильному молодому человѣку нѣтъ выбора; онъ можетъ только наполнять собою толпу тѣхъ лишнихъ и экономически непостижимыхъ людей, которые неизвѣстно чѣмъ живутъ, чѣмъ кормятся и для чего существуютъ...

* *
*

Одно время думали сбыть лишній ротъ въ деревню. «Деревенскія вѣянія» начались сравнительно давно, но въ пору наибольшаго развитія народническихъ идеаловъ, они имѣли не столько экономическій, сколько идейный характеръ; вѣрнѣе, они вовсе даже не имѣли экономическаго характера, а исключительно сводились къ культу мужика. Когда мужикъ пошат-

нулся на своемъ пьедесталѣ, и «служеніе народу» потеряло мистическій ароматъ, призывъ въ деревню получилъ новыя основанія. Интеллигента упрашивали надѣть на себя мужицкое ярмо изъ вниманія къ своему собственному бѣдственному положенію; дѣло шло уже не о томъ, чтобы охранять неприкосновенность народной души отъ вторженія элементовъ культурнаго разврата, а о томъ единственно, чтобы самому кормиться около мужика. «У насъ дѣла много, писали изъ деревень корреспонденты «Недѣли»,—вмѣсто того, чтобы киснуть въ городахъ, шатаясь безъ мѣста и безъ опредѣленныхъ занятій, не лучше-ли перебраться къ намъ и взяться за немудрое, но хлѣбное дѣло?» Но что значитъ переселиться въ деревню? Цинцинатъ тоже переселился въ деревню, и даже Хлестаковъ, когда увлекалъ городничиху «подъ сѣнь струй», тоже, вѣроятно, имѣлъ въ виду переселеніе въ деревню. Очевидно, не этимъ можно привлечь интеллигента въ деревню. Лишній ротъ заботится не о дачномъ благорастворенiи, но о вопросахъ экономическаго существованія. И здѣсь представляются двѣ комбинаціи: во первыхъ, упроститься до степени мужичьяго существованія и стать простымъ пахаремъ, или во вторыхъ, сохранивъ за собою прежнюю профессію и прежніе вкусы, извлекать по прежнему культурные доходы, но только непосредственно изъ мошны му-

жика, а не косвенно изъ средствъ государственнаго казначейства.

Если бы можно было моментально переродиться, стряхнуть съ себя ветхаго человѣка, пріобрѣсти физическую выносливость и мужицкую непритязательность, то я не вижу причинъ, почему бы лишній ротъ отказался отъ деревни. Въ сущности, деревня въ этомъ смыслѣ для него настоящій кладъ; простота и несложность деревенскаго труда, его механическая рутина, желѣзная власть земли, сковывающая человѣка накрѣпко и не дающая мѣста никакимъ сомнѣніямъ и колебаніямъ—все это удивительно хорошо приходится по складу лишняго рта. Лишній ротъ ни о чемъ такъ не мечтаетъ, какъ о точной, нехитрой и размѣренной жизни, для которой не нужно ни умственнаго напряженія, ни работы мысли, ни душевной борьбы. Но разумѣется, совершенно неестественно требовать, чтобы лишній ротъ, ютившійся половину своей жизни въ столичныхъ мансардахъ, пропитавшійся до мозга костей культурнымъ ядомъ, вдругъ, однимъ усиліемъ слабой воли, превратился въ первобытное «естественное» состояніе. Это сознали даже авторы платоническихъ корреспонденцій, которые подъ конецъ стали выражать сомнѣніе и обнаруживать нерѣшительность. Остается пожалѣть, что они не пришли къ этому заключенію раньше. О пер-

вобытномъ состоянiи позволительно мечтать, позволительно писать даже на эту тему идиллическiя повѣсти и тенденцiозныя пасторали, но смѣшно думать, во-первыхъ, что оно сколько-нибудь ново, а во-вторыхъ, что оно сколько-нибудь осуществимо. Питомецъ Виргилiя не въ состоянiи косить траву, и начинать нужно всегда съ начала, а не съ поздняго конца...

Единичные примѣры обращенiя въ естественное состоянiе едва ли что нибудь доказываютъ. Если угодно, они говорятъ именно въ пользу совершенной нелѣпости такого исхода для лишняго рта. Одно изъ двухъ: если культурный пахарь пашетъ потому, что онъ, при свѣтѣ совѣсти, успѣлъ проникнуться Толстовскимъ ученьемъ о культурной грѣховности, то очевидно, что онъ вовсе не относится къ той компактной массѣ экономически-лишнихъ людей, которые страдаютъ именно потому, что культурная, такъ сказать, плоть ихъ остается безъ удовлетворенiя. Если-же, напротивъ, эти люди, являющiеся въ деревню для того, чтобы завоевать ее, и начинающiе съ «естественнаго состоянiя» то опять таки, и это совсѣмъ особая группа, не имѣющая ничего общаго съ господствующимъ типомъ лишняго рта.

Но есть другой выходъ, гораздо болѣе серьезный, практическiй, удобный, въ ту-же деревню—перенести въ нее культурнаго работника, а не принизить себя

до уровня механической силы. Такой призывъ является совершенно резоннымъ и правильнымъ. Поле приложенія культурныхъ способностей въ деревнѣ довольно обширно. Деревня нуждается въ медикѣ, въ учителѣ, часто въ адвокатѣ и пр., они съ удовольствіемъ приняли бы въ свою среду образованнаго техника, сельско-хозяйственнаго руководителя и т. д. Однако, мы не видимъ не только массоваго переселенія интеллигента въ деревню, но и единичные случаи въ такомъ родѣ приходится привѣтствовать, какъ нѣчто исключительное. Это понятно. Прежде всего, деревня—совершенно неизвѣданная область, а лишній ротъ органически не можетъ себѣ представить дѣятельность, сопряженную съ рискомъ. Для того, чтобы пролагать себѣ самостоятельный путь, полагаясь только на собственныя силы и энергію, нужно быть не лишнимъ ртомъ, т. е. не безпомощнымъ культурнымъ слизнякомъ, а цѣльною и энергическою натурою. Строй интеллигентнаго существованія, между тѣмъ, проникнутъ отъ a до z понятіемъ мѣста и жалованья, а вовсе не понятіемъ борьбы за культурныя блага. Если дать лишнему рту какое-нибудь, хотя бы самое минимальное жалованье, и пристроить его къ какому-нибудь управленію или къ какой-нибудь управѣ, онъ съ удовольствіемъ и съ охотою пойдетъ въ деревню, будетъ лечить мужиковъ, и можетъ быть

заслужитъ общее уваженіе своими неусыпными трудами. Но пойти самому въ Проплеванную деревушку, отыскивать паціентовъ, получать за леченье гривенники и двугривенные—это свыше его силъ. «Вольнопрактикующій врачъ деревни Проплеванной»—что же это за position sociale? Какая это дѣятельность? Какое это будущее? какое обезпеченіе?

Во-вторыхъ, деревня въ состояніи принять далеко не всѣхъ. Большинство лишнихъ ртовъ принадлежитъ не къ числу техниковъ и врачей, а къ той огромной толпѣ образованныхъ молодыхъ людей, которые сами не знаютъ, каковъ практическій итогъ ихъ культурности. Въ нихъ есть все, что полагается въ культурномъ молодомъ человѣкѣ: есть извѣстная сумма свѣдѣній въ области наукъ нравственныхъ или естественныхъ, извѣстная «общая» начитанность, и извѣстная широта умственнаго кругозора. Все это прекрасно приспособлено для успѣшнаго прохожденія службы и для аккуратнаго полученія 20 числа каждаго мѣсяца причитающагося оклада содержанія. Но это не составляетъ орудія борьбы и легко мобилизируемаго въ жизни капитала. Съ этою «камеральною» неуловимостью въ деревнѣ буквально дѣлать нечего, если не цинцинатствовать и не заниматься поученіями и защитою самобытности мужицкой души.

Въ-третьихъ, лишній ротъ, что бы ни говорили

объ его гражданскихъ добродѣтеляхъ и объ его готовности послужить смазнымъ сапогамъ и сѣрому зипуну, не чувствуетъ и не имѣетъ никакихъ связей съ деревнею. Большею частью, онъ даже страдаетъ извѣстнымъ наслѣдственнымъ нерасположеніемъ къ строю крестьянской жизни, такъ мало похожей на жизнь городскаго разночинца и культурнаго инвалида. И будьте увѣрены, что онъ найдетъ тысячу предлоговъ не пойти въ деревню, если къ этому даже представится удобнѣйшій случай.

V.

Я не пишу ни ученаго сочиненія, ни спеціальнаго трактата, и мнѣ нѣтъ надобности прибѣгать къ цифрамъ или къ обширнымъ выпискамъ и цитатамъ. Но я думаю, едва ли кто нибудь станетъ со мною спорить, если я прямо скажу, что никогда не чувствовался такой недостатокъ въ талантливомъ интеллектуальномъ трудѣ, какъ теперь, и никогда такъ ярко не проявлялась безталанность его представителей. Жалобы на упадокъ творчества стали общимъ мѣстомъ; конечно, подобныя жалобы всегда раздавались, но у насъ на лицо имѣется конкретное подтвержденіе этихъ жалобъ — вымираніе цѣлыхъ профессій, цѣлыхъ отраслей умственнаго труда. Несомнѣнно, напримѣръ, что изящная словесность, — да простится мнѣ этотъ невольный отзвукъ добраго стараго времени, — вымираетъ, и съ каждымъ годомъ стремится, по уклону, все больше въ сторону ремесленной фабрикаціи; не-

сомнѣнно, что все рѣже появляются передъ глазами публики талантливыя полотна и законченные продукты рѣзца; несомнѣнно, что художественное и полное силы судебное краснорѣчіе держится на нѣсколькихъ посѣдѣвшихъ могиканахъ шестидесятыхъ годовъ, тогда какъ остальная масса профессіональныхъ ораторовъ очень не далеко ушла отъ безцвѣтной посредственности и ограниченной бездарности. Несомнѣнно, наконецъ, что и все общество, въ цѣломъ, стало и менѣе воспріимчиво, и менѣе требовательно, и болѣе мелко, и что въ глубинѣ его сознанія утратилось даже вѣрное и точное представленіе о мѣркѣ изящнаго и художественнаго.

Разумѣется, теоретики нашей публицистики не могли обойти молчаніемъ эти факты. Самою распространенною гипотезою была та, будто наше время есть время столь глубокихъ и серьезныхъ общественныхъ вопросовъ, что всѣ наличныя молодыя силы уходятъ на нихъ. Однако, эта гипотеза продержалась недолго. Во первыхъ, стало ясно, что никакого такого особенно крупнаго и серьезнаго общественнаго дѣла въ виду не имѣется; во вторыхъ, обнаружилось съ очевидностью, что молодыя силы ни на какое невѣдомое дѣло не идутъ и никуда ихъ не тянетъ, а если кое-кто и занимается усиленно этнографіею, такъ вѣдь это еще не составляетъ молодаго поколѣнія. Оскудѣніе

такъ и осталось оскудѣніемъ, не провѣреннымъ и неосмысленнымъ.

Нельзя, конечно, сказать, чтобы нынѣшнее поколѣніе было бездарно или лишено задатковъ, какъ нельзя это сказать о какомъ бы то ни было поколѣніи. Все зависитъ отъ строя жизни и отъ суммы окружающихъ условій. Талантъ есть «даръ небесъ» только въ ограниченномъ и относительномъ смыслѣ; онъ неизбѣжно долженъ пройти рядъ стадій, окрѣпнуть, развиться, сформироваться. Очень крупный талантъ можетъ въ періодѣ броженія казаться совсѣмъ микроскопическимъ и почти неуловимымъ, а безъ помощи закаляющей силы превратиться въ ничто, Роль послѣдней выпадаетъ, главнымъ образомъ, на борьбу за экономическое существованіе, на эту очень простую и вмѣстѣ съ тѣмъ очень сложную борьбу. Взаимодѣйствіе дарованія и нужды, идеала и матеріальныхъ потребностей, натуры и жизни, создаютъ ту лѣстницу восходящихъ ступеней, по которой только и можетъ подниматься обыкновенный средній талантъ. Кадры дѣйствительныхъ дарованій слѣдуетъ искать, такимъ образомъ, въ интеллигентной богемѣ, неприставшей еще ни къ какому опредѣленному дѣлу, не связанной въ своемъ трудѣ, не заѣденной рутиною и не увязнувшей въ проторенныхъ колеяхъ.

Есть ли у насъ въ настоящее время что либо напоминающее этотъ родъ интеллигентной богемы?

Не думаю. Та масса лишнихъ ртовъ, о которой мнѣ пришлось говорить въ предшествующихъ статьяхъ, ни въ какомъ случаѣ не можетъ быть отнесена къ категоріи богемствующей интеллигенціи. Это — просто армія, если можно такъ выразиться, экономическихъ недоразумѣній, вызванныхъ къ жизни ненормальною постановкою у насъ высшаго образованія и хлѣбными вожделѣніями разночинца. Настоящаго представителя богемы калачемъ не заманишь въ канцелярію, и онъ предпочтетъ вѣкъ биться съ нуждою и лишеніями, чѣмъ разъ навсегда замуровать себя въ архивномъ царствѣ и поставить крестъ надъ всѣми своими мечтами, надеждами и упованіями. Такая богема существовала и у насъ, и не дальше, какъ въ шестидесятыхъ и семидесятыхъ годахъ. Помяловскій, Якушкинъ, Демертъ и многое множество другихъ, которыхъ я не привожу просто за ненадобностью, — все это чистокровные представители интеллигентной богемы, не совсѣмъ, конечно, во вкусѣ Мюржé, но очень близко напоминающіе, во всякомъ случаѣ, французскій первообразъ. Теперь такихъ цыганствующихъ интеллигентовъ днемъ съ огнемъ не сыщешь. Самый образъ жизни нашего интеллигента круто измѣнился въ послѣднее время. Пока онъ еще на студенческой скамьѣ, въ

немъ, пожалуй, вспыхиваетъ временами трепетъ молодой жизни, проявляющійся въ формѣ болѣе или менѣе крупныхъ отступленій отъ режима умѣренности и аккуратности. Но затѣмъ онъ окончательно застываетъ. Есть что то гнетущее, тоскливое и безрадостное въ нѣмецкой размѣренности нашего интеллигента. Талантливъ онъ? Быть можетъ; но самый сильный талантъ заглохнетъ въ этой атмосферѣ нравственнаго худосочія. Если судьба къ нему неблагопріятна, онъ рабски склоняетъ выю подъ ея ударами; если, напротивъ, жизнь ему улыбнется, онъ быстро входитъ въ роль разъѣвшагося буржуа, котораго ничто не въ силахъ встряхнуть и обновить.

Когда я сталъ набрасывать эти строки о богемѣ, у меня въ головѣ мелькалъ романъ Зола «L'oeuvre». Мыслимо ли что нибудь подобное въ нашихъ интеллигентныхъ кругахъ? Возможна ли эта пылкая, полуфантастическая, полуреальная, и пожалуй полусумасшедшая любовь къ художественной мечтѣ, къ идеалу больнаго сердца? О, нѣтъ! У насъ есть только академики, которымъ присвоенъ извѣстный мундирный кафтанъ, и «передвижники», которые въ тайнѣ о кафтанѣ мечтаютъ...

* * *

Эстетическая сторона вообще мало развита въ жизни нашего общества; отъ того, быть можетъ, оно и тянетъ такое тоскливое существованіе. Но разумѣется, еще болѣе слабо она проявляется въ жизни нашей молодежи. Послѣ погрома 60-хъ годовъ и пресловутаго разрушенія эстетики, впрочемъ, и нельзя было ожидать иныхъ результатовъ. Одно время говорили про рѣшительный поворотъ въ противоположную сторону, про спасительное отрезвленіе эстетическихъ взглядовъ въ средѣ нашего общества. Но это нужно понимать только въ относительномъ смыслѣ. Реакція могла захватить лишь малочисленный общественный кругъ, носившій въ крови культъ красоты и изящнаго. Если хотите, это была даже не реакція, въ смыслѣ внутренняго перерожденія, а единственно измѣненіе внѣшнихъ условій общественнаго самосознанія. И раньше, быть можетъ, мы съ вами чтили бельведерскій мраморъ и стихи Пушкина, но мы не рѣшались проговориться. Теперь мы высказываемъ то, что думаемъ, — въ этомъ вся разница. Что же касается двухъ третей культурнаго класса, то онѣ, позволю себѣ сказать, очень недалеко ушли отъ эстетическаго хамства 60-хъ годовъ: оно слишкомъ родственно и близко нашему культурному разночинцу, чтобы такъ скоро вывѣтриться и уступить мѣсто аристократическому, эллинскому взгляду на искусство.

На этой мысли стоитъ остановиться подольше. Мнѣ кажется, что въ эстетическомъ погромѣ 60-хъ годовъ никоимъ образомъ нельзя видѣть одно ретивое отрицаніе невзнузданныхъ мыслителей; погромъ былъ движеніемъ почвеннымъ, стихійнымъ, знаменовавшимъ вытѣсненіе одного культурнаго класса другимъ. Сто лѣтъ назадъ, во Франціи, случился также погромъ, передъ которымъ наша «революція сверху» кажется совсѣмъ маленькою; все снесено было тогда до основанія,— все, начиная cabinet de cachet и кончая господствовавшими модами. Однако, на искусство никто не пытался наложить руку, и ни одинъ ученикъ Дидро, Руссо или Монтескьё не плевалъ въ лицо Расину, Корнелю, Буало или Мольеру. И это понятно. Власть мысли, знанія, культурнаго верховенства, въ сущности, вовсе не перемѣщалась: и при ancien régime и послѣ него она оставалась въ рукахъ буржуазнаго класса, усердно накапливавшаго умственныя сокровища въ то время, какъ классъ разслабленныхъ феодаловъ коснѣлъ въ тупомъ развратѣ. Когда пришла пора политическаго господства и опьяненія побѣдою, буржуазія могла пойти на какую угодно крайность, но она не могла покуситься на самое себя, урѣзать свое собственное существованіе и посягнуть на какой-либо изъ элементовъ своего могущества: науку, знаніе, и наконецъ, искусство. У насъ дѣло имѣло совершенно

иной видъ: семь тощихъ (въ буквальномъ смыслѣ) плебейскихъ коровъ сожрали почти безъ остатка семь тучныхъ коровъ дворянской Россіи. Народились новые кадры интеллигенціи, невѣдомые раньше, всемогущіе теперь. Это были дѣйствительно «новые люди», по крайней мѣрѣ въ томъ смыслѣ, что за душою у нихъ не было ничего своего, традиціоннаго и завѣтнаго. Вотъ почему пострадало искусство. Искусство сидитъ въ крови, оно воспитывается поколѣніями, вырабатывается совмѣстно съ медленнымъ органическимъ ростомъ идеала, говоря проще—искусство есть цвѣтокъ высшей культуры. Но для вчерашняго разночинца, котораго тянетъ внизъ подавляющая тяжесть органически живаго, наслѣдственнаго міровоззрѣнія, искусство, въ лучшемъ случаѣ, представляется орудіемъ грубо утилитарныхъ цѣлей. Это не случайное вѣянье, не результатъ крайняго направленія, господствовавшаго тогда въ передовыхъ журналахъ, а совершенно естественное, законное выраженіе историческаго момента. «Кому что нравится, писалъ Писаревъ въ «Реалистахъ»—одному музыка, другому—поэзія, третьему — балетъ, а четвертому — слоеные пирожки». И для всякаго было ясно, что Писаревъ, хорошо воспитанный барченокъ, только рисуется, когда приравниваетъ поэзію къ слоенымъ пирожкамъ. Но для толпы «мыслящаго пролетаріата» это была не случайная

гипербола, сорвавшаяся въ пылу увлеченія съ полемическаго пера, а настоящее откровеніе. Разночинная масса, въ сущности, понимала только одинъ слоеный пирожокъ, и весь ея радикализмъ, все бѣшенство ея отрицанія были, быть можетъ, ничѣмъ инымъ, какъ замаскированнымъ стономъ сердитаго безсилія. Таковы, въ извѣстной степени, были и лучшіе, наиболѣе одаренные ея представители. Недавно припоминали 25-лѣтнюю годовщину дня смерти Н. Г. Помяловскаго. Но что такое былъ Н. Г. Помяловскій? Типичнѣйшій экземпляръ интеллигентнаго разночинца, раздвоеннаго между природнымъ міровоззрѣніемъ разночинной натуры и аристократическими влеченіями живаго таланта. И мы знаемъ, чѣмъ кончилась эта борьба. Въ одномъ изъ послѣднихъ своихъ произведеній Помяловскій дописался до такого, напримѣръ, анти-художественнаго перла: «и она, вспомнивъ прежніе годы своей съ нимъ *сипондраціи*, влѣпила ему препорядочную безешку». Про эту «сипондрацію» нынче забыли, но она очень характерна.

Разумѣется, теперь исчезла уже острота «сипондрацій»; нынѣшнее поколѣніе отчасти выросло уже въ средѣ, умѣвшей цѣнить, такъ или иначе, или по крайней мѣрѣ считаться съ эстетическою стороною человѣческой жизни. За послѣдніе годы въ этомъ отношеніи замѣтенъ ощутительный прогрессъ. Теперь

не рѣдкость встрѣтить «мыслящаго» интеллигента изъ раннихъ въ Эрмитажѣ, на выставкахъ; онъ признаетъ музыку и даже слегка присахариваетъ въ своемъ признаніи, склоняясь къ мучительно однообразной и необъятной симфонической музыкѣ. Онъ читаетъ стихи и классиковъ, хотя все еще, впрочемъ, путается въ вопросахъ литературнаго реализма и искусства для искусства. Замѣтной роли, однако, въ его существованіи эстетическіе вкусы пока не играютъ. Искусство можно любить двояко: какъ предметъ первой необходимости, отвѣчающій неотложнымъ запросамъ жизни, и какъ предметъ комфорта, развлекающаго сытое существованіе. И мнѣ кажется, что наша молодежь смотритъ въ настоящее время на искусство больше съ точки зрѣнія комфорта и буржуазной сытости, и въ воспитательномъ смыслѣ мало отразила на себѣ его развивающее и облагораживающее вліяніе. Присмотритесь къ складу мышленія молодаго поколѣнія. Я не знаю, случалось ли вамъ обращать вниманіе на особую сухость, если позволено будетъ такъ выразиться, логическихъ пріемовъ, употребляемыхъ нынѣшними молодыми людьми въ разговорѣ. Съ одной стороны, молодой человѣкъ правъ, правъ, какъ тысяча братьевъ не могутъ быть правы; съ другой стороны, его логическій выводъ васъ не только не удовлетворяетъ, какъ этого слѣдовало ожи-

дать, но напротивъ, дѣйствуетъ раздражающимъ и утомляющимъ образомъ. И это потому, что онъ мыслитъ какъ то тяжело, неизящно, некрасиво, что его истина черезчуръ общеизвѣстна, что способъ ея выраженія черезчуръ баналенъ, и наконецъ, что все его міровоззрѣніе совершенно неинтересно, хотя быть можетъ, вполнѣ согласно со «строгою моралью». Это изнанка «разрушенія эстетики», развѣнчавшаго природу и сердце, въ угоду разуму, но упустившаго одну бездѣлицу: тѣсную связь между первымъ, вторымъ и третьимъ.

Къ счастью, оно проходитъ; къ несчастью, мы — тотъ историческій матеріалъ, изъ котораго со временемъ сформируется синтезъ ума и сердца, мысли и природы. Вся черная работа выпала на нашу долю; блескъ талантливости достанется другимъ поколѣніямъ.

VI.

Вся сущность переживаемаго нынѣшнимъ молодымъ поколѣніемъ момента, и вся, если угодно, его жгучесть состоитъ въ томъ, что это — моментъ переходныхъ формъ, изъ которыхъ еще Богъ вѣсть что выработается. Въ былое время наша культура имѣла свою строго очерченную физіономію; это была—культура барская; затѣмъ прошло около тридцати лѣтъ, посвященныхъ поруганію и осмѣянію барской культуры. Тридцать лѣтъ мы только то и дѣлали, что угощали пинками отжившій культурный строй, тридцать лѣтъ мы возились съ «отсталыми» понятіями и «ретроградными» тупицами, вмѣсто того, чтобы хотя полгода заняться собою и рѣшить, что̀ намъ нужно и на что̀ мы годимся. За этотъ крупный промежутокъ времени, жизнь ушла чрезвычайно далеко и развернула цѣлый рядъ новыхъ и невиданныхъ формъ экономическихъ и общественныхъ отношеній. А мы все толковали, что барская

культура никуда не годится. Отлично; но вѣдь нужно, чтобы что нибудь годилось; изъ того, что мы тридцать лѣтъ отплевывались отъ прошлаго, еще ровно ничего не слѣдуетъ. Вопросъ въ томъ, далеко ли мы ушли отъ поруганнаго культурнаго строя. Напримѣръ, былой интеллигентъ могъ ровно ничего не дѣлать, а ходить себѣ изъ угла въ уголъ въ родовомъ Санъ-Суси, и глядѣть на кончикъ бархатныхъ туфель. Это не годится, согласенъ; принципъ жизни теперешняго молодаго поколѣнія есть трудъ. Но развѣ онъ сознанъ, развѣ онъ осмысленъ, развѣ нынѣшній интеллигентъ знаетъ, что такое трудъ, рискъ работы, задѣльная плата? Далѣе. Былой интеллигентъ, сознательно или несознательно, смотрѣлъ на себя, какъ на привилегированное существо, которое въ своихъ теоретическихъ построеніяхъ вольно улетать куда угодно, въ надзвѣздныя пространства, гдѣ даже не пахнетъ ни мужикомъ, ни народомъ. По нынѣшнему времени это не годится. Но развѣ въ туманномъ сознаніи современнаго молодаго поколѣнія есть это стремленіе стать вровень съ народомъ и отказаться отъ культурныхъ привилегій?

Произошло, такимъ образомъ, довольно странное явленіе. Дѣти новой культуры, на двѣ трети состоявшія изъ разночинцевъ, сами пропитались самою вредною стороною барской культуры. Покончивъ съ эсте-

тикою, съ философскимъ идеализмомъ и романтизмомъ, убивъ весь ароматъ культурнаго барства, они забыли внести въ строй своей жизни запахъ потнаго человѣческаго труда. А между тѣмъ, измѣнилось не только внутреннее содержаніе этого строя, но и вся внѣшняя обстановка. И прежде всего, выяснилась совершенно иная, новая группировка общественныхъ классовъ. Раньше существовало всего два класса: верхи — интеллигенція, и народъ, причемъ первые находились, совершенно независимо отъ втораго, въ постоянномъ волнообразномъ движеніи. Этою независимостью и если угодно, изолированностью и можно было только объяснить быструю смѣну направленій и теченій въ общественномъ сознаніи интеллигенціи. Она творила все изъ себя, потому что она вся начиналась въ себѣ и въ себѣ же заканчивалась. Въ настоящее время, кромѣ полюсовъ, имѣется и «средостѣніе», выражаясь любимымъ славянофильскимъ терминомъ. Это «средостѣніе» — буржуазія, прочно утвердившаяся между интеллигентными верхами и народными низинами. На мой взглядъ, русская буржуазія уже готова, и совершенно напрасный трудъ принимаютъ на себя тѣ, что предостерегаютъ общество отъ ея появленія. Почему это такъ случилось — вопросъ особый; но несомнѣнно, что мы на всѣхъ парахъ стремимся къ господству буржуазіи. Наша буржуазія сформировалась не только

путемъ, такъ сказать, новообразованій, но и при помощи филіаціи прежнихъ общественныхъ классовъ. Дѣйствіе этой филіаціи сказалось пока въ двухъ различныхъ направленіяхъ: во-первыхъ, она произвела расколъ въ средѣ крестьянства, выдѣливъ изъ него кулачествующую группу буржуазной закваски, и во-вторыхъ, она захватила культурный слой, понизивъ его уровень до интеллектуальной высоты буржуазныхъ сферъ.

Такимъ образомъ, типъ молодой культуры формируется, какъ мнѣ кажется, подъ вліяніемъ трехъ различныхъ факторовъ: во-первыхъ, остатковъ барства; во-вторыхъ, наслѣдственныхъ и органически живыхъ инстинктовъ разночинства, и въ-третьихъ, буржуазныхъ наслоеній, ростъ которыхъ идетъ безостановочно изъ года въ годъ. Обыкновенно упускается изъ виду эта сложная комбинація, этотъ узелъ соціально-историческихъ сплетеній. Къ нынѣшнему молодому поколѣнію подходятъ съ элементарною мѣркою, которая вполнѣ годилась въ давнопрошедшія времена, но которая не имѣетъ никакого смысла теперь. Въ былое время интеллигентныя, въ высокомъ значеніи этого слова, сферы и культурныя совпадали; теперь ихъ границы значительно расходятся. Это не то, что прежде: «темное царство» съ одной стороны, и «лучъ свѣта» — съ другой. Темное царство давно уже успѣло отполи-

роваться и внѣшнимъ образомъ превосходно усвоило секретъ дешеваго освѣщенія. Кто скажетъ нынче, что «Китай-городъ»—не культура? И обратно, кто скажетъ, что Китай-городъ есть прибѣжище интеллигенціи? Это противоположеніе культуры и интеллигентности, идейныхъ верховъ и культурной безъидейности—создала и выдвинула народившаяся буржуазія. И споръ идетъ о томъ, кому достанется побѣда, и какому теченію въ настоящее время принадлежитъ преобладаніе. На мой взглядъ и я думаю, едва ли это сочтутъ парадоксомъ,—все указываетъ на то, что господство останется за буржуазнымъ теченіемъ, и что наша интеллигенція растворится въ сѣрой массѣ новообразовавшейся буржуазіи. Повторится, словомъ, то, что произошло уже давнымъ давно въ западной Европѣ. Тамъ нѣтъ интеллигенціи, какъ общественнаго класса, или лучше сказать, сословія. Тамъ есть артистическіе, ученые, философскіе кружки, и затѣмъ «правящій» пестрый культурный классъ, въ которомъ безразлично смѣшивается рантьеръ, купецъ, чиновникъ, учитель и пр.

Я постараюсь ниже коснуться этихъ признаковъ времени. Но уже a priori можно сказать, что другія органическія теченія не въ силахъ совладать съ надвигающеюся буржуазною волною. Элементъ разночинства не на столько перебродилъ и отложился, чтобы

составлять серьезный противовѣсъ буржуазному давленію; притомъ, онъ скорѣе родственъ ему, чѣмъ враждебенъ. Что же касается элементовъ барства, то ихъ существованіе и преобладаніе немыслимы экономически; въ настоящее время они держатся на синекурѣ чиновничества. Но пройдетъ нѣсколько лѣтъ, переполнятся всѣ канцеляріи и присутствія, и съ этимъ придется распрощаться. Это вопросъ времени, но если бы даже и не во времени было дѣло, то и тогда для досужаго культуртрегерства нѣтъ болѣе мѣста въ русской жизни.

* *
*

Сколько помнится, въ «Письмахъ о женщинахъ» г. Авсѣенко мнѣ привелось прочитать и запомнить, между прочимъ, одну очень вѣрную и основательную мысль. Говоря объ уровнѣ, такъ сказать, продажности современной женщины, авторъ писемъ замѣчаетъ, что настоящая опасность для общественныхъ нравовъ возникаетъ не тогда, когда густѣютъ ряды продажныхъ женщинъ, а тогда, когда между открытою куртизанкою и такъ называемою порядочною женщиною нечувствтельно сокращается разстояніе. Этотъ тезисъ совершенно примѣнимъ къ интересующему насъ вопросу. Высота національной культуры опредѣляется вовсе не процентнымъ отношеніемъ числа грамотныхъ

новобранцевъ къ неграмотнымъ, и не общею суммою оборотовъ фирмы «Посредникъ», торгующей дешевыми изданіями гр. Толстаго. Это — статистическій вздоръ, не больше. Высокая культура, способная къ творческой работѣ, всегда въ большей или меньшей степени проникнута олигархическимъ началомъ, и настоящая опасность начинается тамъ, гдѣ буржуазная безформенность подходитъ вплотную къ интеллигентной индивидуальности. Разумѣется, опасность понимается мною въ относительномъ смыслѣ. Когда, положимъ, между приказчикомъ парфюмернаго магазина и лицомъ, получившимъ высшее образованіе и готовившимъ себя къ высшей дѣятельности, пролегаетъ только узенькая полоска, то на этотъ фактъ можно взглянуть съ двухъ различныхъ точекъ зрѣнія: можно во-первыхъ, радоваться за парфюмернаго приказчика, котораго культурный потокъ подвинулъ такъ далеко, на передовую позицію, и видѣть въ этомъ залогъ прочности культурнаго строя; но можно, во-вторыхъ, скорбѣть за интеллигента, топтавшагося на одномъ мѣстѣ въ то время, какъ парфюмерный приказчикъ бодро шагалъ впередъ. А если къ этому присоединяется еще нерасположеніе къ такому укладу жизни, когда тонъ задаютъ парфюмерные приказчики, что̀ неизбѣжно при ихъ численномъ перевѣсѣ, то скорбная точка зрѣнія пріобрѣтаетъ особенную силу и значеніе.

Я всецѣло примыкаю къ послѣдней точкѣ зрѣнія. Въ программу моихъ статей не входитъ оцѣнка нашей «гражданственности» въ цѣломъ; онѣ посвящены молодому поколѣнію, представлявшему всегда, во всѣ времена нашей сознательной жизни, нѣчто самостоятельное и своеобразное, и теперь медленно тающему на нашихъ глазахъ.

Прослѣдите, въ самомъ дѣлѣ, личную жизнь нашего интеллигента—беру личную потому, что буржуазныя свойства даже рельефнѣе отражаются на идеалахъ личныхъ, нежели общественныхъ,—что это, какъ не точная копія буржуазнаго прозябанія? Въ своемъ пониманіи смысла жизни, интеллигентъ не далеко ушелъ отъ парфюмернаго приказчика. Его идеалы какіе-то плоскодонные, не выходящіе изъ границъ безпечальнаго существованія, мелкаго тщеславія и копѣечной славы. Настоящаго, широкаго самолюбія и честолюбія, заставляющаго ради собственнаго «я» напрягать всѣ усилія въ борьбѣ съ обстоятельствами, у него нѣтъ и въ поминѣ. Онъ не отказывается, конечно, отъ жизненнаго успѣха, но самый жизненный успѣхъ измѣряется мелкимъ буржуазнымъ аршиномъ. Онъ не забываетъ ни на минуту, что онъ мелкій рантьеръ, питающійся незначительными процентами съ своего культурнаго капитала. Реализировать его, рискнуть, поставить его на карту? О, ни за

что! Въ немъ безпрестанно пробуждается этотъ инстинктъ мелкаго собственника, который только тогда спокоенъ, когда купоны у него въ карманѣ, а безпрепятственный размѣнъ ихъ обезпеченъ всѣмъ достояніемъ государственнаго банка. Я зналъ молодыхъ людей необыкновенно широкаго и всесторонняго образованія и выдающихся дарованій; одинъ изъ нихъ, шутя, написалъ диссертацію по спеціальному вопросу, составившую ему сразу почетное имя въ литературѣ, и кажется, даже переведенную на нѣсколько иностранныхъ языковъ. И всѣ эти молодые люди ужасно счастливы, когда 20 числа каждаго мѣсяца получаютъ 75 р.

Возьмите ихъ вкусы, привычки, образъ жизни. Чуть только интеллигентъ соскочилъ со школьной скамьи, для него уже не существуетъ никакихъ умственныхъ интересовъ. Правда, онъ выписываетъ газету, но во-первыхъ, ту же газету читаетъ его парикмахеръ, а во-вторыхъ, въ газетѣ онъ просматриваетъ отдѣлъ театра и музыки, да еще спеціальный отдѣлъ сплетенъ и скандаловъ. Политика, и въ особенности общественная жизнь, его ни мало не касаются. Въ этой безучастности есть что-то ужасающее. Скажите ему, что завтра долженъ рѣшиться самый животрепещущій вопросъ русской жизни, и въ газетахъ появится текстъ новаго закона, совершенно из-

мѣняющаго пріемы управленія. Повѣрьте, онъ только мелькомъ на него взглянетъ, и немедленно перейдетъ къ новому закулисному скандалу. Книгъ онъ вовсе не читаетъ, если это ему ненужно по обязанностямъ службы; журналы разрѣзываются только на легкой дамской беллетристикѣ. Это онъ создаетъ успѣхъ трескучаго и нелѣпаго историческаго романа; это онъ хлопаетъ глупому фарсу и мелодраматической безтолковщинѣ. Онъ—наравнѣ, конечно, съ массою нашей молодой буржуазіи, для которой эта общность вкусовъ есть, разумѣется, признакъ прогресса. И эта полусонная, томительно однообразная, размѣренная жизнь, слагающаяся изъ какихъ-то невѣроятно скучныхъ, невѣроятно глупыхъ и совершенно микроскопическихъ мелочей, не имѣющая ни будущаго, ни прошедшаго, засасываетъ его до такой степени, что онъ все отдастъ за увѣренность, что завтра будетъ такъже, какъ и сегодня, и что ни одна изъ «тьмы низкихъ истинъ», которыми держится буржуазный строй, не исчезнетъ неожиданно изъ обихода его жизни. Для этого процесса буржуазнаго ожирѣнія не нужно много времени. Въ какихъ-нибудь два-три года интеллигентъ на буржуазной подкладкѣ уже совершенно готовъ, и вы только съ трудомъ въ состояніи будете отличить его отъ какого-нибудь окультуреннаго купчика или мелкаго чиновника изъ банка. Гдѣ черта, от-

дѣляющая одного отъ другаго? Почему одинъ называется интеллигентомъ, а другой причисляется къ типу буржуа? Есть масса культурныхъ людей, хорошихъ и дурныхъ, сильныхъ и слабыхъ, но характерныхъ группъ я между ними не вижу.

Тезисъ, который я поддерживаю, нѣсколько рискованный и расходится съ обычнымъ воззрѣніемъ на затронутый вопросъ. Обыкновенно въ интеллигентныхъ кадрахъ принято видѣть не союзника буржуазіи, играющаго ей на руку, а наоборотъ, силу противодѣйствующую ея развитію; затѣмъ установилось также нѣмое такъ сказать предположеніе, что молодыя интеллигентныя силы стремятся къ сліянію съ народомъ и къ общей дружной работѣ на народной нивѣ. Не смотря на разнообразіе общественно-политической тенденціи, этотъ выводъ, въ той или иной формѣ, повторяется всѣми, и пишущими, и читающими. А отсюда естественно вытекаетъ тотъ общій, и позволю себѣ сказать—банальный оптимизмъ, на взглядъ котораго всякій новый интеллигентъ есть лишняя опора интеллигентнаго строя жизни, а всякое завоеваніе молодыхъ людей съ высшимъ образованіемъ разсматривается, какъ побѣда новыхъ и высшихъ началъ. Съ такимъ радостнымъ оптимизмомъ я не могу согласиться, потому что вижу здѣсь одно сплошное недоразумѣніе. Недавно, напримѣръ, въ одной газетѣ сооб-

щалось о такомъ отрадномъ фактѣ: министерство юстиціи занято въ настоящее время разработкою вопроса о подробномъ разграниченіи функцій судебныхъ приставовъ и судебныхъ разсыльныхъ, послѣ чего очищенную и аристократизированную до извѣстной степени должность судебнаго пристава предполагается предоставлять единственно лицамъ съ высшимъ юридическимъ образованіемъ. Не помню, что̀ именно сказала газета по этому поводу, но навѣрное что нибудь радостное, и всѣ читатели газеты, кромѣ быть можетъ судебныхъ приставовъ, также, вѣроятно, совершенно искренно привѣтствовали новый порядокъ замѣщенія должности судебнаго пристава. Однако, что̀ же здѣсь хорошаго? Во первыхъ, въ интересахъ общественной экономіи, это прямо вредно, потому что на очень немудрое дѣло уйдетъ много интеллигентныхъ силъ, а во вторыхъ, несомнѣнно, что должность судебнаго пристава, съ ея элементарною простотою и буржуазною безформенностью, въ концѣ концовъ поглотитъ и растворитъ въ себѣ замѣщающаго ее интеллигента. Представьте себѣ судебнаго пристава, двадцать лѣтъ состоящаго на службѣ, возившагося съ исполнительными листами, возглашавшаго громкимъ голосомъ: «судъ идетъ!», а въ промежуткахъ между дѣломъ наслаждавшагося тихимъ и скромнымъ буржуазнымъ счастьемъ. Неужели вы скажете: вотъ представитель

поколѣнія 60-хъ годовъ, одинъ изъ немногихъ уцѣлѣвшихъ до сего времени «мыслящихъ реалистовъ»? Едва-ли. Вы просто выражаетесь: вотъ непритязательный судебный приставъ, который отлично провелъ жизнь между подобіемъ канцелярскаго дѣла и плоскодонными идеалами мѣщанскаго счастья. И разумѣется, вы будете правы.

Такимъ образомъ, мнѣ кажется, тріумфальное шествіе молодаго поколѣнія въ глубь другихъ общественныхъ классовъ, завершившееся столь блистательно пораженіемъ судебныхъ приставовъ, представляетъ утѣшеніе въ довольно слабой и сомнительной степени. Побѣдоносное «мы» и отступающее «не мы», въ концѣ-концовъ, перепутались и перемѣшались въ такой мѣрѣ, что кромѣ формальнаго сознанія, что «мы» побѣдили, а «они» отступили, у насъ подъ руками не имѣется рѣшительно никакого побѣднаго трофея. Такія побѣды самимъ очень дорого обходятся. Выражаясь языкомъ механики, мы потеряли на интенсивности то, что выиграли на экстенсивности; а впрочемъ, можетъ быть мы даже больше потеряли, чѣмъ выиграли. И прежде всего, мы потеряли роль руководящаго класса, дѣйствительно могущественнаго и вліятельнаго. Теперь, мы—только капля буржуазнаго моря, которое одно въ настоящее время представляетъ квинтъ-эссенцію нашей гражданственности.

Какъ это произошло? Отчасти я уже указалъ на это. Здѣсь я только постараюсь, при помощи общихъ соображеній, уяснить ходъ процесса. Нужно помнить, что образованность (употребляю это слово, за неимѣніемъ другаго, болѣе подходящаго), составлявшая и составляющая всю нашу силу, и опредѣляющая все наше значеніе, не является никогда въ томъ видѣ, въ какомъ ее рождаетъ природа вещей. Это не Венера, выходящая изъ морской пѣны; она неизбѣжно и необходимо отливается въ извѣстныя историческія формы, преимущественно общественно-экономическаго характера. Во времена, напримѣръ, крѣпостничества, образованность отлилась въ совершенно цѣльный типъ барской культуры. Затѣмъ, когда пришла пора реформъ, экономически-общественный типъ образованности представлялъ, такъ сказать, вакантное мѣсто, за обладаніе которымъ боролось нѣсколько претендентовъ: разжалованное дворянство, съ одной стороны, разночинство, съ другой,—и наконецъ, новый общественный классъ, буржуазія, съ третьей. Разумѣется, самымъ серьезнымъ конкуррентомъ являлась послѣдняя. Всѣ первые годы нашего пореформеннаго разцвѣта были посвящены тому, чтобы обезпечить за нею преобладаніе и процвѣтаніе; мы сами, своими собственными руками, посадили ее на первое мѣсто, облачили въ боевые доспѣхи и стали дожидаться, что

она поведетъ насъ по тому смутному и неясному пути, который обозначался довольно пошлымъ именемъ «прогресса». Результаты не заставили себя долго ждать. За очень короткій промежутокъ времени народившаяся сила успѣла справиться съ главнѣйшею частью своей задачи—насажденіемъ и распространеніемъ «тятенькиныхъ» милліоновъ, а затѣмъ принялась расчищать почву для своего нравственнаго и общественнаго могущества. Теперь эта работа идетъ на всѣхъ парахъ, хотя еще, впрочемъ, далеко не завершилась, и всѣ эти призывы интеллигенціи въ народъ, въ деревню, въ славянофильскую Мекку и народническую Медину—ни что иное, какъ послѣднія усилія, которыя дѣлаетъ наша погибающая интеллигенція въ борьбѣ съ расплывающимся по лицу Россіи пятномъ буржуазіи. Но эти усилія безплодны: какъ общественный классъ, какъ типъ чистой образованности, хранительницы высшихъ идеаловъ, интеллигенція больше не существуетъ. И мнѣ кажется, что въ сущности, никогда молодое поколѣніе не было такъ далеко и такъ чуждо народу, какъ именно теперь. Дворянскій романтизмъ могъ теоретически, по крайней мѣрѣ, находить извѣстныя точки соприкосновенія съ народною жизнью; во всякомъ случаѣ, какъ бы далекъ онъ отъ него ни былъ, онъ все-таки, по самому складу своего существованія, не имѣлъ случая и возможности ста-

новиться по отношенію къ нему въ прямо враждебное положеніе, тогда какъ буржуазно-культурный строй, съ его тусклостью, ограниченностью, дешевымъ либерализмомъ и благонамѣренною ложью, выростаетъ въ силу, органически враждебную народной жизни. Это антиподъ ея, и антиподъ довольно скверный.

* *
*

Выводъ, къ которому я пришелъ, представляется, такимъ образомъ, мало утѣшительнымъ. Въ сущности, это—отрицаніе молодаго поколѣнія, въ историческомъ русскомъ значеніи этого слова. Входя, въ качествѣ составной интегральной части, въ общую массу русской буржуазіи, проникаясь тѣми же утробными взглядами и тою же безъидейною немощью, наша молодая интеллигенція сразу вступаетъ въ тотъ заколдованный кругъ готовыхъ формъ жизни и готоваго существованія, изъ котораго вовсе нѣтъ выхода. Въ книгѣ европейскихъ судебъ прекрасно все записано и изображено, и намъ придется пережить всѣ органическіе фазисы буржуазнаго общества, сначала борющагося за свое преобладаніе, а затѣмъ застывающаго на долгіе годы и мертвящаго всякое проявленіе новой идеи, нравственной или общественной. Иначе говоря, намъ угрожаетъ опасность превратиться изъ прогрессивнѣйшей и наиболѣе гибкой изъ всѣхъ существующихъ интеллиген-

цій—въ пошлый и рабскій сколокъ европейской культурщины, съ ея внѣшнею доктринерскою развязностью, съ ея внутреннимъ гнетущимъ и тупымъ консерватизмомъ, ея поверхностною моралью и мелочною регламентаціею. То, что составляло во все время нашего культурнаго существованія характеристическій признакъ русской интеллигенціи, ея молодость, отзывчивость, свѣжесть, воспріимчивость—неизбѣжно завянетъ и мало-по-малу окончательно исчезнетъ. Съ современной точки зрѣнія. я не могу себѣ представить, чтобы въ болѣе или менѣе близкомъ будущемъ мыслимы были какіе-нибудь рѣзкіе переходы общественнаго сознанія отъ одного къ другому; мнѣ кажется совершенно невѣроятнымъ, чтобы когда-нибудь въ жизни нашихъ интеллигентныхъ сферъ повторилась та лихорадочная смѣна идей и теоретическихъ увлеченій, которою ознаменованы были сороковые и шестидесятые годы. Буржуазная жизнь руководствуется не влеченіями души, ищущей правды, не блестящими идеями и новыми словами. Далеко нѣтъ. Все это спокойно можно высказывать, но все это также спокойно отскакиваетъ отъ буржуазной совѣсти и дѣйствительности. Центръ буржуазной сущности лежитъ въ предразсудкѣ, предубѣжденіи и общемъ мѣстѣ. Никто такъ блестяще и въ то же время такъ незамѣтно для себя не выразилъ этого, какъ Тэнъ. «Напрасно, го-

воритъ онъ («L'ancien régime», 275),—возстаютъ противъ того, что предразсудокъ руководствуетъ человѣческими дѣлами: самъ разумъ есть предразсудокъ. Всякая доктрина является дѣйствующею силою только съ того момента, когда она становится слѣпою и существуетъ въ нашемъ умѣ въ качествѣ усвоеннаго вѣрованія, принятаго обычая, укоренившейся наклонности, порабощающей традиціи». И это совершенно вѣрно по отношенію къ буржуазному обществу. Любить идею въ ея теоретической наготѣ, и тутъ же стараться согласовать съ нею свою жизнь и дѣятельность, превратить ее немедленно въ практическій рычагъ—этого на Западѣ не понимаютъ. Традиція, обычай, привычки, предразсудокъ—все, что угодно, но только не новое слово и не новая истина. За новою истиною пойдутъ, можетъ быть, немногіе эксцентрики, но вся буржуазная масса станетъ терпѣливо дожидаться, пока истина не покроется морщинами и не превратится въ плоскую и противную банальность.

Вотъ гдѣ, по моему, лежитъ главная опасность не только для молодаго поколѣнія, но и для множества будущихъ молодыхъ поколѣній, опасность непотизма и ожирѣнія, опасность захлебнуться въ буржуазной пошлости и косности. Тотъ рецептъ, который предлагается такъ-называемыми народниками всякихъ цвѣтовъ и оттѣнковъ, сводится, въ концѣ-концовъ, къ

одному пустословію. Въ «Недѣлѣ», напримѣръ, вотъ недавно писали, что слѣдуетъ интеллигентнымъ людямъ снять огороды въ деревняхъ и культивировать на нихъ преимущественно рѣдьку и капусту. Что же, это дѣло хорошее... Но только, что здѣсь въ сущности спасается? Спасается нѣсколько интеллигентовъ, не имѣющихъ работы, отъ голода. А рѣчь идетъ вѣдь не объ одномъ голодѣ и не объ однихъ только матеріальныхъ лишеніяхъ. Рѣчь идетъ объ интеллигенціи, какъ объ общественномъ классѣ, необходимомъ, на мой скромный взглядъ, въ такой же мѣрѣ, какъ и классъ обособленныхъ и спеціализированныхъ огородниковъ. И вотъ, этого общественнаго класса, мы никакимъ образомъ не спасемъ, заставивъ его полоть гряды и ухаживать за капустою. И если въ душной атмосферѣ городовъ, молодой интеллигенціи угрожаетъ опасность раствориться въ буржуазной массѣ, то въ сферѣ огородничества ей неминуемо предстоитъ сліяніе съ крестьянствомъ. Вездѣ сліяніе, и здѣсь, и тамъ, но нигдѣ не представляется возможности удержать ея самостоятельность.

Въ теоріи, конечно, легко возродить интеллигенцію, какъ общественный классъ, заключивъ образованность въ тѣсныя границы и искуственно уменьшивъ контингентъ интеллигенціи. Но фактически это такая же мечта, какъ и проекты интеллигентнаго огородниче-

ства. Придать образованности олигархическія очертанія возможно было тогда, когда существовало крѣпостное право, и даже послѣ его упраздненія, когда между интеллигенціею и народомъ лежалъ мягкій и податливый слой разночинства, но не теперь, когда мы имѣемъ дѣло съ сильною и оформившеюся буржуазіею. Съ какой стати она откажется отъ образованія? И съ какой стати лишать ее права на умственное совершенствованіе? Въ печати говорилось очень много о томъ, что у насъ неправильно поставлено гимназическое образованіе, подготовляющее молодежь только къ университету, а не къ практической жизни, и что не грѣхъ было-бы, оставивъ гуманитарное образованіе для избранныхъ, устроить для другихъ техническія, промышленныя и профессіональныя школы. Взглядъ вполнѣ правильный и раціональный. Но дѣло въ томъ, что ни въ техническую, ни въ промышленную, ни въ профессіональную школу не пойдетъ ни одинъ изъ тѣхъ, кто въ образованіи видитъ возможность уйти изъ среды наслѣдственныхъ, органическихъ условій жизни въ ту сферу, гдѣ начинается загадочное существованіе русскаго «барина». Буржуазному обществу нужно равенство, потому что въ этомъ видимомъ равенствѣ оно находитъ точку опоры для своего преобладанія. И вотъ почему, трудно представить себѣ, чтобы

въ современномъ обществѣ могла утвердиться интеллигентная олигархія.

«Чумазый идетъ»... Вы думаете, это значитъ только, что на то мѣсто, которое раньше занималъ «не-чумазый», сѣлъ чумазый? Гораздо больше. Это значитъ, кромѣ того, что чумазый подчинилъ себѣ »не-чумазаго» и нечувствительно поработилъ его существо. Если бы въ среду весталокъ, хранившихъ священный жертвенный огонь, вторглись постоянныя посѣтительницы сатурналій въ венериной рощѣ, то это не только привело бы къ полному распаденію касты весталокъ, но и къ гибели священнаго культа, потому что одно неразрывно связано съ другимъ. Я боюсь того-же, ибо чумазый страшенъ не столько самъ по себѣ, сколько какъ ферментъ разложенія и разврата...

Я подошелъ къ концу своей задачи, и передъ тѣмъ, какъ поставить точку подъ своимъ скромнымъ трудомъ, мнѣ-бы хотѣлось очистить себя отъ одного упрека, который самъ собою напрашивается, быть можетъ, у читателя. Это—упрекъ въ нѣкоторой односторонности и мрачности красокъ. Разумѣется, въ жизни и дѣятельности молодаго поколѣнія не все такъ темно и безотрадно; разумѣется, на ряду съ грустными явленіями можно указать на явленія совершенно иного

рода. Охотно соглашаюсь съ этимъ. Однако, я считалъ совершенно ненужнымъ говорить о тѣхъ симпатичныхъ сторонахъ русской молодежи, которыя давно уже открыты, изслѣдованы и превратились въ ходячее общее мѣсто. Пусть прекрасное останется прекраснымъ, ростетъ и крѣпнетъ, но пусть исчезнетъ все дурное и наносное, что мѣшаетъ нормальному развитію русскихъ интеллигентныхъ силъ. Я посвятилъ свои статьи явленіямъ патологическаго происхожденія, указывающимъ на характеръ переживаемаго момента. Если послѣдній угаданъ вѣрно, и общій фонъ его дѣйствительно таковъ, какимъ онъ изображенъ, то извѣстная односторонность статей находитъ полное оправданіе. Молодежь слишкомъ долго угощали приторными комплиментами и восторженными апологіями; въ теченіи цѣлаго ряда лѣтъ объ ней говорилось съ придыханіемъ, какъ о вещи священной, допускающей не голосъ безпристрастнаго анализа, а одинъ лишь благоговѣйный трепетъ. Всякая гадость, всякое проявленіе грубаго невѣжества, верхоглядства, самомнѣнія, открыто бросавшіяся въ глаза, относились всегда на счетъ постороннихъ вліяній, «независящихъ обстоятельствъ» и вмѣшательства чуждыхъ молодежи силъ. Создался какой-то родъ круговаго обмана, окутавшаго молодое поколѣніе плотнымъ туманомъ мистической тайны, и вокругъ него, этого храма молодежи, на цы-

почкахъ прохаживались журнальные авгуры, не подпускавшіе непосвященныхъ на близкое разстояніе. Не думаю, чтобы отъ этого кто-нибудь былъ въ выигрышѣ, кромѣ тѣхъ-же авгуровъ, для которыхъ мистическая тайна была секретомъ существованія и господства... Но убаюканная и усыпленная тенденціозными пѣснопѣніями молодежь должна, наконецъ, понять, что пришла пора покончить съ очаровательнымъ сномъ и серьезно отнестись къ себѣ и къ своему будущему.

Что дѣлать и какую практическую программу обновленія принять—я не берусь указывать. Мои очерки не были критикою опредѣленнаго міросозерцанія съ точки зрѣнія другаго міросозерцанія, а просто летучею характеристикою современнаго разброда молодаго поколѣнія. Но если, какъ мнѣ кажется, невозможно сказать, что̀ нужно дѣлать, то за то не трудно уяснить себѣ, какимъ путемъ слѣдуетъ идти, чтобы покончить съ разбродомъ. Этотъ путь — трудъ; трудъ, во первыхъ, какъ основа экономическаго существованія, покоющагося до сихъ поръ на интеллигентной барщинѣ и всякаго рода синекурахъ; трудъ, во вторыхъ, какъ могущественное орудіе подъема личности, подавленной и обезцвѣченной въ нашемъ поколѣніи «молодыхъ людей недурной наружности въ партикулярномъ платьѣ», съ которыхъ я началъ свое изложеніе. Свободный трудъ, цѣнимый самъ по себѣ, безотносительно къ практиче-

ской выгодѣ, трудъ, какъ рабочая атмосфера жизни— вотъ что необходимо прежде всего молодому поколѣнію. Такой трудъ въ состояніи обновить и характеръ нашего мышленія и образованія, наши привычки, потребности и облегчить тяжелыя условія личнаго существованія. Тогда само собою явятся и укрѣпятся высокіе идеалы личной и общественной жизни, которыхъ не знаетъ современный интеллигентъ, явятся просто потому, что поколѣніе людей съ здоровою мыслью и здоровымъ сердцемъ не можетъ тосковать въ безвоздушномъ пространствѣ, бросаясь отъ крайностей бездѣйствующаго пессимизма къ крайностямъ «естественнаго состоянія», къ которому зоветъ молодежь графъ Толстой.

Но болѣе всего трудъ необходимъ для насъ, какъ орудіе борьбы за господство интеллигенціи. Образованность, закупоренная въ области отвлеченностей и таимая про себя, имѣетъ столько же шансовъ въ борьбѣ за преобладаніе, какъ и полуобразованность и внѣшняя культурность, составляющія въ настоящее время достояніе массы. Въ своемъ теперешнемъ инертномъ состояніи, молодая интеллигенція обнаруживаетъ признаки вырожденія и прострации, тогда какъ мелкая буржуазная среда ростетъ и расширяется съ каждымъ днемъ. Это внушаетъ серьезныя опасенія за исходъ борьбы, съ которою связаны историческія судьбы Россіи

и налагаетъ на молодое поколѣніе обязанность трудиться не только для сохраненія перваго мѣста, но и во имя будущаго родной страны и роднаго народа.

Можно жить, не имѣя передъ глазами ни широкихъ идеаловъ, ни высокихъ цѣлей, но невозможно обойтись безъ труда — вотъ въ чемъ суть вопроса. Полное удовлетвореніе личности,—полное, разумѣется, настолько, насколько это входитъ въ предѣлы человѣческой возможности, — наступаетъ обыкновенно въ томъ случаѣ, когда широкій идеалъ идетъ рука объ руку съ трудомъ. Но идеалы на улицѣ не валяются. Бываютъ эпохи исторической передышки, когда въ нѣдрахъ человѣческаго ума и сердца происходитъ затаенная борьба вѣковыхъ началъ. Въ настоящее время, думается мнѣ, именно переживается нѣчто подобное, и не только у насъ, но и на Западѣ. Раціонализмъ, которымъ держался весь строй нашихъ понятій, завершилъ циклъ своего развитія, обветшалъ и развалился. Что̀ придетъ ему на смѣну, и что̀ отчасти уже пришло—это не входитъ въ сферу моего изслѣдованія и моей компетентности. Но во всякомъ случаѣ, нужно стремиться къ тому, чтобы «novum rerum ordo» засталъ не растеряннаго, безпомощнаго и экономически пришибленнаго интеллигента, а сильную, развитую личность, сознающую себя, свою

историческую роль и умѣющаго взяться за практическое дѣло.

Критическое время нужно перебыть и переболѣть. А трудъ величайшее и дѣйствительнѣйшее средство успокоенія...

ОГЛАВЛЕНІЕ.

	стр.
Лэди Макбетъ	1
Американскій дядюшка	10
„Въ вихрѣ вальса“	20
Женскій хлѣбъ и женскія драмы	26
Отъ легкой жизни	33
Жертвы книги	43
Бѣдный Ванька	54
Фабрикантши романовъ	60
„Дядина“ карьера	69
Памяти хорошаго человѣка	76
„Пиджачная интеллигенція“	81
Женскій вкусъ	89
Художественный „бабецъ“	97
Объявленія	107
Національная драма	113

стр.

Чему учить 120
Ивановъ 128
Манія величія 134
Культурныя болѣзни 142
Поэтъ декаданса 149
Жизненный эликсиръ 156

Молодое поколѣніе 161

Цѣна 1 р. 25 к.

СКЛАДЪ ИЗДАНІЯ: Типографія **А. М. Вольфа**,
Большая Итальянская, д. № 2.

3 2044 004 466 777

ry
bel
e is incurred by
the specified tir
e return promp